

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 51

1987



Анатолий АНАНЬЕВ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ЗЕМЛЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 51

Анатолий АНАНЬЕВ

ЗЕМЛЯ

ОЧЕРКИ

Москва. Издательство «ПРАВДА»

1987

Анатолий АНАНЬЕВ

Анатолий Андреевич Ананьев родился в 1925 году в Джамбуле, в городе, который прежде назывался Ауле-Ата (Святой отец). Когда наступила война, вместе с друзьями-комсомольцами, с которыми учился в Наманганском сельскохозяйственном техникуме, поступил в Харьковское артиллерийское училище, размещавшееся тогда в Фергане, а по окончании училища в звании младшего лейтенанта поехал на фронт. Первое боевое крещение принял на Курской дуге, потом участвовал в боях под Новгород-Северским, Речицей, Веткой, где форсировал Днепр, под Калининскими и под Сехешифехерваром, на Балатоне.

На фронте вступил в члены КПСС.

Писать начал после войны, в 1950-1952 годах. Сначала стихи, потом рассказы, повести и романы: «Танки идут ромбом», «Межа», «Версты любви», «Годы без войны».

Анатолий Ананьев — Герой Социалистического Труда, главный редактор журнала «Октябрь».

ГРУЗ БУДУЩЕГО

Общая жизнь людей, связанная с прогрессом, всегда требует больших фундаментальных разработок как в сфере социальной, экономической, так и духовной. Нельзя отдавать преимущество ни наукам фундаментальным, ни прикладным; и те, и другие выполняют свою роль и взаимно дополняют друг друга. В литературе, если взять ее художественный стержень, то крупные романы, повести, поэмы я бы отнес к области фундаментальных разработок духовного и нравственного состояния общества. Без таких разработок мы были бы беднее, если не сказать больше. Не могу представить себе — как, думаю, и все — наше общество без романов Достоевского, без «Войны и мира» Толстого и «Тихого Дона» Шолохова. Разумеется, и Чехов, Бунин и другие художники этого плана, если брать целиком их творчество, тоже вели в своих рассказах и повестях фундаментальное исследование человеческой жизни. Это особенно важно помнить сегодня, когда мы стоим перед революционным обновлением общества, что показал XXVII съезд КПСС и прошедший недавно июньский Пленум ЦК КПСС, когда мы заговорили о человеческом факторе как о самом действенном в общем механизме жизни и когда внимание к человеку, к его духовному состоянию, его духовной наполненности должно стать максимальным.

Но в нашем литературном процессе, как мне представляется, происходят некоторые смещения взглядов на жанровые возможности как прозы, так и поэзии, публицистики и критики. Мне кажется, что мы начинаем терять вкус к большим полотнам, составившим величайшую традицию русской литературы, и выдвигаем на передний план (за их боевитость, разумеется) публицистику и критику. Но ведь и публицистику и критику (я не имею в виду литературоведение) можно скорее отнести к так называемым прикладным жанрам; они действительны, их значение по-своему велико, и все-таки они относятся к разряду сиюминутных, тогда как роман — это та сфера духовной жизни, та образная система человеческого характера и социальных взаимоотношений, которая более глубоко воспринимается нашим читателем, то есть нашим гражданином, и более, чем что-либо другое, воздействует на его нравственное и духовное состояние. Утрата этого вкуса может привести к невос-

полным потерям; тем более, насколько мне известно, мастера коротких жанров прошлого никогда не противопоставляли, скажем, рассказ или публицистическую статью романному полотну; нет подобных высказываний ни у Чехова, ни у Бунина, ни, наконец, у О'Генри, с чьим именем связывается определенный этап развития западной новеллы. У нас же в современном литературном процессе стало уже некоей ходячей формулой, что большие романы сегодня, дескать, не читаются (тогда как уже по письмам читателей, которые приходят ко мне, я могу сделать совершенно противоположный вывод), что настало время быстрых перемен, кратких сюжетов, скорых (и неоправданных часто) решений.

С утратой интереса к фундаментальным литературным и духовным исследованиям мы можем допустить одну из самых серьезных ошибок в воспитании советского человека; может быть, одну из тех ошибок, какие допущены были нами и в сельском хозяйстве, и в промышленности, когда мы не только не придавали значения фундаментальным направлениям науки (ввиду неприменимости фундаментальных разработок к сиюминутной жизни), но и инициативу тех отдельных энтузиастов, которые брались за это дело, старались погасить на корню.

Думаю, что и в литературе, как и в экономических сферах деятельности, надо отойти от этой нашей известной расточительности и повернуться более лицом к людям, к писателям, которые могут или могли бы в широком полотно, с большой художественной силой и правдой рассказать о состоянии, мыслях и чувствах нашего современника, тем более что не так уж много у нас сегодня писателей с романным мышлением. Он не прост, наш современник; и мне кажется непозволительным без конца поучать его, как это все еще делается, когда, например, веками жившему на земле крестьянину «открывают» истину, что удой молока зависит от кормов. Да кто же тогда придумал пословицу, что молоко у коровы на языке!

Что меня особенно настораживает в современном литературном процессе? Мы обращаемся к самым различным проблемам и темам, некоторые из них объявляются вечными — как любовь и мир, — некоторые — хотя и преходящими, но тоже чрезвычайно важными и открывающими новые как будто бы для нас страницы литературы и жизни, как, например, наркомания или проституция, — темы, я бы сказал, даже сенсационные. Если же рассматривать все это с точки зрения фундаментальности, то сразу и даже невооруженному глазу откроется прикладной характер этих тем.

Не берусь утверждать, тем более поучать, потому что нет и не может быть человека — держателя истины в последней инстанции, — но хочу заметить, что самой важной и самой вечной темой для человека все же остается вопрос земельный: вопрос использования земли как кормилицы, взаимоотношения человека с ней, то есть та самая нравственная

связь с землей, о которой мы неустанно продолжаем говорить и писать. Продолжаем, не касаясь, к сожалению, самого главного в этом вопросе: кто должен быть истинным хозяином земли и обихаживать ее. Нас приучили к формуле, что хозяин — народ и что земля есть народная собственность. Правильно. Но настолько общо, настолько расплывчато, что, в сущности, она остается без хозяина, без рук, которые прилагались бы к ней, а мы, то есть народ, без достаточного количества самых необходимых, элементарных продуктов; мы не можем закрывать глаза на то, что еще десять лет назад ставился вопрос о Продовольственной программе страны, которая до сих пор не выполнена — и нет пока надежды на то, что будет выполнена в ближайшее время; что, имея такие огромные пахотные массивы и выпасы, мы вынуждены закупать мясные и молочные продукты в странах Запада и даже ввозить их из-за океана. Потому-то и представляется мне, что литература, обходя вниманием этот главный вопрос — вопрос земельный — и полагая его решенным, в сущности, отошла от главной темы, то есть от фундаментальности своих художественных исследований в области человека и земли.

Деревенская литература, так прекрасно заявившая себя почти полтора десятилетия назад, в сущности, коснулась лишь нравственной стороны изменений, происходящих в деревне, но не коренного вопроса, о котором еще Л. Н. Толстой писал (в романе «Воскресение»), что от правильного решения его зависит не только и, может быть, даже не столько крестьянское благополучие, но общая жизнь людей. Он прямо указывал, что в человеке по отношению к земле действуют две взаимоотталкивающие силы, которые следует непременно учитывать: одна из них — это невозможность частного владения землей, потому что всегда найдутся оборотистые и досужие, которые начнут скупать ее, и другая — что только собственность рождает инициативу к обработке земли (как, впрочем, и во всяком ином деле). Это второе было отброшено нами как якобы несущественное, наносное, даже противоестественное — и не платим ли мы сейчас полной мерой (мерой оскудения нашего стола) за подобное пренебрежение к действительным формам жизни? Думаю, литература могла бы и должна была сказать здесь свое слово, потому что речь идет именно о человеческом факторе, о человеческой душе, о струнах (и рычагах), с помощью которых и рождается не подгоняемая бригадирским окриком, а постоянно действующая и воспроизводящая себя инициатива.

Земля не может быть частным владением; но она не может быть и бесхозной, и, наверное, единственный выход здесь — закрепление ее за семейными звеньями на долгосрочной основе. Решением этой проблемы только и можно, мне кажется, возродить в крестьянской душе утраченное ныне чувство хозяина, о котором все мы теперь так горячо дискутируем, словно не от действий, а от количества произнесенных с трибуны благих слов и пожеланий может измениться дело. Мы вспоминаем Декрет о земле — второй после Декрета о мире молодой Совет-

ской власти — и, вспоминая, успокаиваемся, полагая, что земля в хозяйских руках. Но она все это время оставалась, в сущности, ничьей, потому что — как мне уже приходилось говорить и писать об этом — председатель колхоза — хозяин делу, райком — хозяин еще большому делу, а земля — она оказалась общей, ничейной, и все мы (каждый на свой лад) только разбазариваем и портим ее. Мне думается, серьезное обращение к этой проблеме на прошедшем недавно Пленуме ЦК должно, наконец, сдвинуть воз с места.

К сожалению, и наша достопочтенная критика, так много сделавшая для деревенской литературы — за что ей можно сказать только спасибо, — тоже до сих пор обходила молчанием земельный вопрос как главный вопрос социального и нравственного климата нашего общества. А когда появлялись хотя бы самые малые голоса, касающиеся проблемы земли, то они оставались неслышными и затухали, как не имеющие будто бы значения. Меня могут обвинить в предвзятости, но всё же, чем руководствовалась критика, обходя молчанием то, что теперь стало главной жизненной потребностью и жизненной необходимостью в решении Продовольственной программы страны, чтобы мы не стояли в очередях и чтобы не 3—4 сорта колбасы, которые сегодня, хотя и не всегда, можно увидеть на прилавках, имели, как и раньше (и как в социалистических странах), не меньше 30—40 сортов на выбор! Я рассматриваю это небрежение как одну из ошибок, не менее глубокую и не менее важную, чем те, что мы совершали всем народом в сельском хозяйстве, в промышленности и в экономике и что так срочно взялись перестраивать сегодня.

В докладе М. С. Горбачева на Пленуме прозвучал вопрос о месте семейного звена в сельскохозяйственном производстве, то есть о поисках тех новых форм труда в деревне, которые могли бы наконец привести к кардинальным изменениям нынешнего положения дел. Все мы понимаем, что без решения сельскохозяйственных проблем вряд ли возможно решить остальные проблемы, в том числе оборонные, и потому, мне кажется, писатели не должны оставаться в стороне от этих поисков. Пример братьев Кожуховых и семьи Волоченских, о котором говорил М. С. Горбачев, в сущности, не нов, и я был рад, обнаружив почти полное его совпадение с тем, что писал о Сошниковых, проводивших в романе «Годы без войны» подобный эксперимент на орловской земле.

Основой этой линии романа послужил реальный эксперимент, в начале 70-х годов проводившийся в одном из крупных зерносовхозов под Алма-Атой, где я в то время жил. Несколько семей тогда взяли у совхоза по 100 и более гектаров земли и технику и на договорных условиях вырастили на этой земле урожай. При тех же погодных условиях эти люди взяли почти вдвое больше зерна, чем на остальных совхозных землях, затратив примерно в 8 раз меньше рабочей силы, техники и горю-

чего,— соответственно и себестоимость зерна оказалась много ниже запланированной. Каждый из участников эксперимента зарабатывал в месяц около тысячи рублей — и тут-то встал вопрос, как выплачивать им деньги. Никто не подумал о том, сколько и по какой себестоимости сдаю зерна, но высокие заработки как будто кому-то кололи глаза; началась тяжба с финансовыми организациями, и наконец дело дошло до Москвы, куда были отправлены ходяки от участников эксперимента. Они побывали у тогдашнего секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству Ф. Д. Кулакова, но, видимо, авторитета, чтобы решить вопрос, не хватило и у секретаря ЦК. Рутинное представление о размерах заработков — я бы сказал бюрократическое представление, поскольку заработки не ставились в зависимость от конечного результата, — одержало верх, и участники эксперимента разъехались кто на Север, кто на стройки, лишь бы не оставаться в сельском хозяйстве.

Понятен мой интерес как агронома и как писателя к этому удивительному эксперименту, к людям, еще в те годы решившим найти достойное применение своей инициативе, сообразительности и силе. Происходило это, повторяю, в начале 70-х; тогда о них говорили: «Хотят заработать, урвать для себя». Нет, не урвать хотели — трудом утвердиться на земле, работать на благо себе и обществу! Тогда же я решил ввести в роман эту поразившую меня историю, так как мне показалось, что именно в ней заложен ответ на кардинальный вопрос об использовании земли.

Разумеется, я не раз встречался с людьми, в той или иной степени причастными к эксперименту, исписал несколько блокнотов и, чтобы иметь самое полное представление о печальном завершении эксперимента, попросился на прием к Ф. Д. Кулакову. Беседа с ним оставила у меня лучшие впечатления и надежды, и если читатели наткнутся в романе на фразу: «На Старой площади ему сказали...», то должны знать, что написана она не ради красного словца, но столь же достоверна, как и само описание эксперимента, перенесенного в романе на российскую землю. Это-то, что казалось мне самым важным для общего нашего благополучия, для укрепления могущества нашей державы, наконец, просто для жизни, так как человечество еще не нашло способа жить без хлеба, — это-то важное и оставалось как бы в тени литературного процесса, заслоняемое самыми острыми, сенсационными проблемами, или, как называют критики, «литературной малинкой».

Еще раз повторяю, что не потому, что это написано мною, а потому, что это затрагивает коренные вопросы нашей жизни, жизни народа, мне представляется невозможным и несправедливым замалчивание столь важной темы. Бригадный подряд, семейный подряд повсеместно вводятся сейчас в обиход и рожают качественно новое отношение труженика к земле. Литература, во все времена говоря о человеке и ставя во главу угла человеческую личность, всегда внедрялась в экономические и социальные сферы, так как человек неотделим от них. В русской

литературе мы можем проследить это, начиная от «Слова...», в котором сильнее, может быть, чем где бы то ни было, звучит государственный вопрос единения Руси перед лицом грозившего тогда нашествия с востока. Острая гражданственность, прозвучавшая в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева, прошла через сердца и творчество Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Белинского, Григоровича, Льва Толстого, а если коснуться XX века, отмечена веками М. Шолохова, Л. Леонова, Ф. Абрамова, В. Астафьева, О. Гончара, М. Стельмаха, В. Лациса, И. Мележа.

К сожалению, в нашем столетии лежит огромное, более чем в 50 лет, пространство, когда мы не только не думали, но даже и не предполагали, что придется думать о земельном вопросе, и стояли к сельскому труженику спиной. Не следует, конечно, забывать об энергичном протесте писателей против вмешательства в природу, вызванного индустриализацией, но земля — земля, с которой в Сибири и Нечерноземье начали уходить крестьяне, — и по сей день остается безнадзорной не только с точки зрения крестьянского отношения к ней, но и безнадзорной со стороны литературы, как будто мы не можем понять и признать, что нравственная и социальная среда обитания строится на нашем отношении к земле.

Как в общественном производстве, так и во всей нашей жизни земля занимает уникальное место: если рабочий в промышленности должен по крайней мере следить за своим станком, а остальное — цеховой корпус, весь завод — это фон, за который ответственны другие и который не участвует непосредственно в процессе труда этого рабочего, то сельский механизатор находится в ином положении: он должен следить не только за трактором, поскольку трактор — лишь орудие труда, но прежде всего за землей: ведь только она способна дать и дает урожай. Однако на деле он обихаживает трактор, а земля — вроде бы и ничья: ее подчас бездумно то осушают, то орошают, что приводит к засолению; отравляют неоправданно большими количествами гербицидов и удобрений... Я не думаю, что мы сейчас можем упрекнуть механизатора за то, что он в порядке содержит трактор, но центром его внимания должна стать земля, и только тогда он будет квалифицированным сельскохозяйственным рабочим, только тогда он сможет выполнить то, что общество ждет сегодня от деревни.

Но вернемся к собственно литературе. Что же она может сделать сегодня, в период революционного обновления общества, в главном вопросе — земельном, с которым взаимосвязано все остальное: нравственность, благополучие, достаток, процветание науки, культуры — могущество державы? Есть выражение, которое мы часто употребляем: «груз прошлого». Он тяготит нас, мы относим к нему все, что мешает нам двигаться вперед, чаще всего пороки и недостатки; но я бы ввел новое понятие: «груз будущего». Да, груз такой есть, и он состоит из

комплекса нерешенных проблем, как житейских, так и государственных, которые каждое поколение должно брать на себя и решать. Конечно, легче отвернуться от этого груза, чем взять его, но думаю, что перекладывать его на плечи будущих поколений — преступление перед народом и государством.

Мне кажется, что, заслонившись тяжеловесной фразой о грузе прошлого, наши предшественники представляли себе будущее таким легким и светлым, что именно забыли взять этот груз истинных проблем, чтобы не отягощать нас, а груз этот, повторяю, — смелость в решении кардинальных вопросов жизни, фундаментальные разработки научных, социальных, нравственных основ нашего общества; и в системе всех общественных институтов, призванных думать, определять и прогнозировать, влиять на формирование как социальных структур, так и нравственных отношений, — в системе всех этих общественных институтов, мне кажется, литературе по ее предназначению отведена если не первостепенная, то весьма и весьма важная роль. Мне хотелось бы, например, чтобы в нашем критическом взгляде на литературный процесс нынешнего столетия появились бы фундаментальные (и термин этот я отношу не только к большим полотнам в прозе и в поэзии) разработки по вопросам исследования литературой всех жизненных ситуаций: успехов, провалов, застоя и взлета. Только в таком случае, взглянув на пройденное одним взглядом, то есть охватив целостную картину, можно будет глубже понять, что мы сделали и чего не сделали; и можно будет повести разговор действительно о литературе, лишив его всяческой групповщины и местничества, ненужных восхвалений и мстительных разносков.

Художественность и осмысление жизни и ее направлений — все это вошло бы сегодня в наш большой разговор об истинной перестройке и гласности в литературе; придало бы писательской атмосфере больше доброжелательности как к талантам молодым, так и к сделавшим уже много и требующим, как и все, участия и поддержки. Мы могли бы подумать и поговорить о том, какие коренные вопросы, как и насколько были затронуты и разработаны литературой, и среди этих вопросов мы бы ясно увидели, что упущен был самый главный — вопрос о землепользовании в новых условиях жизни. Без решения Продовольственной программы трудно решить и все остальные в той степени и с тем успехом, какого мы сегодня ждем, и нельзя забывать известную (и ошаблоненную уже, к сожалению) истину, что будет хлеб — будут и песни.

ЗЕМЛЯ

Все началось с того, что мне позвонил тогдашний первый секретарь Московского областного комитета партии и пригласил посмотреть отстроенное почти заново село Большое Телешово. Надо сказать, что в те

времена шли самые горячие дискуссии о том, какой быть современной деревне, многоэтажной ли, городского типа или, как прежде, стоящей избами на земле со всеми своими собственными пристройками, огородами, садами и палисадниками, то есть в том привычном (для глаза русского человека) виде, как она смотрелась и возводилась не по эстетическим или иным каким пристрастиям, а на основе потребностей и нужд крестьянского труда и быта. Дискуссии эти, кстати говоря, так ничем и не завершились, да и не могли завершиться каким-либо одним и ошablонивающим все решением, и я даже думаю, что весь этот барабанный гром был напрасен; не лучше ли было положиться на самого сельского человека, который более чем кто-либо знает, как ему устроиться на земле и что иметь под рукой, и он бы, не сомневаясь, сделал нужный выбор. Ведь народ не просто громкое слово, которым можно дело не в дело пользоваться, и если мы называем его мудрым, то и относиться к нему надо соответственно. Но вернемся к Большому Телешову, куда, отозвавшись на приглашение, я поехал вместе с группой писателей, творчество которых так или иначе было связано с нечерноземной деревней.

Теперь мало кто знает о том, что представляла собой старорусская деревня (разделенная будто бы только на мироедов и бедняков, как трактовалось еще совсем недавно в учебниках); она была по-своему организована, в ней протекала своя устоявшаяся жизнь, в которой далеко и далеко не все было только осудительным и темным, и, забегая вперед, скажу, что нельзя было безразборно зачеркивать все, что столетиями складывалось в ней, и не для плана, да простится мне это сравнение, то есть не для галочки, а для удобства жизни, и если говорить о Большом Телешове, то первым, на что все мы во время осмотра обратили внимание и что, несомненно, порадовало нас, было желание устроителей вернуться к тем незаслуженно забытым традициям крестьянского быта, о которых можно теперь узнать разве что из книг классиков, что когда-то традиции эти существовали и считались нашей особенностью и гордостью. Сельский врач — ведь это было не просто понятием; это была, если можно так сказать, целая подвижническая школа, он был безотказен, этот сельский врач, и настолько приближен к народу, что не просто считался, был участником той жизни, в которой приходилось ему работать. Дом его одновременно был и поликлиникой, и аптекой, и (при нужде) больницей; он и лечил и просвещал людей, и этот образ сельского врача, как и сельского учителя, до сих пор и с благодарностью живет в народе. Так вот, в Большом Телешове устроители и попытались возродить эту забытую традицию, и нам показали дом, в котором (в одной половине его) разместились семья молодого врача, а в другой — врач этот мог в любое время дня и ночи принять больного и оказать ему помощь; тут же были гараж и машина, на которой, и тоже в любой час суток, он мог выехать на вызов. Это было прекрасно. Прекрасно то, что врач со всеми знаниями, заботами и долгом стал как бы

членом большой деревенской семьи, что сочеталось и с традициями, и с требованиями современной жизни.

С таким же замеслом была выстроена и чайная, хозяин которой с семьей жил тут же, в отведенной для этого половине дома (разумеется, хозяин в том смысле, что он с семьей трудился в этом заведении); и сельский магазин, да и дома колхозников не столько, я бы сказал, подновленные, сколько отреставрированные в том же традиционном стиле. Все это, повторяю, было прекрасно, мы были возбуждены, говорили, что если бы удалось вот так восстановить хотя бы Подмоскovie, а там и дальше по стране, но... пока это была только одна (на сотни тысяч), первая восстановленная в согласии с традициями русская деревня, но и она радовала; радовала как начало большого и важного дела, которое уж на этот раз все мы непременно доведем до конца.

После осмотра мы собрались в клубе. Пришли колхозники, чтобы послушать, как оценят писатели их труд, и когда мне дали слово, я от души поздравил жителей Большого Телешова. Но мне хотелось пойти дальше тех возвращенных традиций, и я заговорил о земле, об отношении к ней человека и о тех разорванных нравственных связях, которые не одному, наверное, поколению придется восстанавливать теперь. В то время я работал над романом «Годы без войны», земельный вопрос меня интересовал особенно, и я высказал мысль: а не взяться и не закрепить ли землю за отдельными семьями, ну, скажем, по 50 или по 100 гектаров? Пусть эти семьи, как звенья, входят в колхоз, а председатель должен быть хозяином общего дела. И у земли будет хозяин, и у общего дела — хозяин, а взаимоотношения между председателем и семейными звеньями будут осуществляться, грубо говоря, только через трактор, бензин, удобрения и т. д.; через деньги и натуроплату, и тогда не условно, а фактически благосостояние деревенского человека будет зависеть от его труда. Сколько вложил, столько и получил; и чем больше, тем лучше и для него самого, и для государства.

Иначе говоря, я сказал, что земля должна быть отдана в пользование без права продажи.

После меня выступили еще несколько писателей, потом взял слово Георгий Марков. Он сказал резко, словно приговорил в последней инстанции, что земля принадлежит народу и что народ никогда и никому ее не отдаст; она была, есть и будет (разумеется, имелся в виду наш послереволюционный период) общим достоянием. Он не то чтобы сказал это в полемике, но, думаю, со всей свойственной ему искренностью повторил лишь то известное положение о земле как о народном достоянии, которое столь же верно было тогда, как и верно теперь в общей своей основе. Да, земля у нас принадлежит народу, и одним из первых декретов молодой Советской республики был Декрет о земле; декретом этим был решен главный и кардинальный, а вернее сказать, общий вопрос, раз и навсегда отменивший саму возможность частного землепользования. А когда началась коллективизация, земля, в сущности, оказа-

лась без хозяина. Когда за что-то отвечают все, то спросить не с кого. За убаюкивавшей всех нас фразой — земля принадлежит народу, за этой успокоительной и все решившей как будто формулой мы, если хотите, отсиживались более чем половину столетия, а вернее, решением всевозможных побочных проблем пытались решить главную, не затрагивая ее. Я не помню, чтобы когда-либо (во всем обозримом отрезке) возникал у нас разговор о том, чтобы принять закон о землепользовании, а тем более о нравственных связях человека с землей, вернее, о нарушении этих связей и фактическом отторжении хлебороба от земли. Как агроном я знал, видел, что земля, будучи народным достоянием, оставалась бесхозной, что с нее каждое сменявшееся руководство пыталось только выжать что можно, а там после нас, дескать, и трава не расти; видели это и колхозники, но всеохватная, вседовлевающая (и в чем-то даже магическая) фраза, что земля принадлежит народу, настолько крепко сидела в сознании людей, руководивших сельским хозяйством, да и не только им (у нас все считалось народным, и все мы и за все были в ответе и не отвечали ни за что), что даже малейшее колебание в основополагающем значении ее было недопустимым. Мнение это между тем широко распространено и теперь, особенно в областном и районном звене руководства, его пытаются даже подкрепить известными опасениями, что единоличное крестьянство будто бы — это прямой путь к капиталистическим отношениям, способным подорвать самую основу нашего строя. Но, позвольте, во-первых, никто не предлагает возрождать частную собственность на землю, а закрепление ее за семейными звеньями, хотя бы и на долгосрочной основе, — это лишь одна из форм организации труда, причем труда эффективного, заинтересованного, не противоречащего социализму, и, во-вторых, нельзя же из одного только опасения, как бы чего не вышло, десятилетиями держать народ на скудном пайке; надо искать, предлагать, экспериментировать, а для этого реалистично признать, что земля оказалась бесхозной и что пора, самая пора исправлять допущенные ошибки и промахи.

Мы с иронией говорим теперь об инертности нашего мышления, о бюрократичности и громоздкости сложившегося аппарата управления, но создается впечатление, что все эти правильные мысли относятся не к нам, а к кому-то другому, кто тормозил и тогда общее поступательное движение, тормозит его и теперь; но кто же этот другой и неуловимый, с которого ни спросить и которого ни наказать нельзя, и не заключено ли все в нас самих, в нашей инертности и нежелании видеть и мыслить по-новому? Мы так стараемся иногда удержаться за старое, с чем сжились, что, несмотря на очевидную непригодность той или иной организационной структуры (будь то в сельском хозяйстве или иной отрасли), боимся пошевелить мозгами, чтобы поискать новое и приемлемое. Явление это, которое мы все так обнаженно видим теперь, в сути своей не новое, оно имеет и свою общечеловеческую историю, и государственную, если хотите, и особенно развилось и укрепи-

лось в период застоя, когда все и вся заслонялось красивыми фразами и положениями. Но и тогда были люди, которые старались преодолеть этот консерватизм, но усилия их либо не замечались, либо молчаливо отвергались теми, кому и без перемен жилось уютно и припеваючи. Да и что ходить за примерами, когда можно привести свой, который более чем красноречиво говорит о том времени. Когда вышел роман «Годы без войны», поставивший вопрос о землепользовании, то есть о возможности (передав землю хозяину, вернее, закрепив ее за семейными звеньями) эффективно и в короткий срок решить Продовольственную программу (предложение куда дальше выходило за рамки бригадного и семейного подряда, который так широко утверждается у нас теперь), критики не то чтобы не заметили, но обошли глубочайшим молчанием этот важный вопрос, поднятый в романе. Писали о чем угодно, придуман был даже новый жанр — «роман-мысль», что выглядело не только нелепостью, но вызвало недоумение: неужели так оскудела у нас критическая мысль? Но было бы несправедливо сказать, что не заметили все. Я благодарен критикам Уляшову и Бочарову, а еще более — ученым-аграрникам, которые сразу же и широко поддержали роман. Мне говорили, что на основе рассказанного в романе эксперимента с семейным закреплением земли была отправлена записка в отдел ЦК, а позднее уже меня пригласил президент ВАСХНИЛ академик А. А. Никонов, и я имел с ним долгую и интереснейшую беседу. Заметили и читатели, от которых я получил огромное количество писем. Читательская заинтересованность была настолько велика, что выдвигалось даже требование, чтобы из четырех томов романа я составил бы четыре страницы текста (об этом государственном вопросе) и передал в правительство для обсуждения.

Разумеется, я рассказываю обо всем этом не для того, чтобы теперь задним, как говорится, числом упрекнуть кого-то или, что было бы еще неприемлемее, напомнить о себе и романе (роман читается, и я могу судить об этом по продолжающемуся потоку писем о нем), — нет, не это и сегодня движет мной, а одно-единственное желание — привлечь внимание к самому вопросу о землепользовании, к проблеме, которая сегодня более чем когда-либо является коренной для нас и от решения которой, разумеется, смелого и верного решения, будет зависеть благосостояние и, если хотите, жизнеспособность нашего общества.

Мне кажется, нет такой литературы, в которой писатели не обращались бы к теме: земля и человек. Для нас такое обращение отмечено тремя великими вехами: Радищев, Толстой, Шолохов. Произведения их, касающиеся земли и хлебороба на ней, можно отнести к фундаментальным разработкам социально-нравственного, духовного состояния общества. Но, к сожалению, на этих именах и заканчивается так необходимая (не литературе, нет, а народу) фундаментальность и начинается обмельчание и дробление, когда что-либо (как это было с нравственностью), отделенное от целого, принимается за целое и возводится в абсо-

лют. Мы говорили как будто обо всем, что беспокоило нас в современной деревне и разрушило ее, но не задевали главного — земли, что с ней происходит в действительности, как она используется; и обходили молчанием, как несуществующий, вопрос о том, что всегда являлось стимулом для хлебороба, вызывало в нем инициативу и привязывало его к земле.

Уже после Большого Телешова мне довелось как-то побывать в одном из совхозов Чеховского района. Мы встречались с читателями в местном клубе. На встрече присутствовало и местное, и районное руководство, а потом, после разговора, райисполкомовские работники поехали проводить нас. Уже стемнело. На границе, где кончились поля совхоза, «газик» наш свернул с дороги и въехал в какой-то заасфальтированный тупичок. Мы вышли из машины, чтобы пожать друг другу руки и распрощаться, и тут кто-то из районного руководства сказал: «Смотрите, какая силища у нашей земли, рвет асфальт и прорастает». Асфальт действительно был, как такыр, покрыт трещинами, и сквозь них густо лезла трава. «А если к этой земле да приложить руки», — сказал кто-то, и хорошо помню, с каким удивлением и восхищением была всеми воспринята та реплика. Но ничего вразумительного никто не мог сказать, словно на само выражение «приложить руки» был наложен запрет и никто не смел нарушить его. Взрослые, думающие люди, мужики, крестьяне не в одном, наверное, поколении, они только переглянулись и затем в спешке, как будто хотели замаять неприятное или, вернее, поскорее покончить с этим неприятным, вдруг всплывшим наружу, принялись обниматься и пожимать и прощально трясти руки.

Отчего же так распространились у нас сегодня бесхозяйственность, распущенность, наплевательское, если не сказать больше, отношение к делу? Причин, видимо, много, но что касается сельского хозяйства, то причина, в сущности, одна и очевидна — человек, не кормящийся с земли, то есть не обладающий ею фактически, не может работать на ней иначе как поденщик, монастырский работник или крепостной. Десятилетиями он оставался как бы отгороженным от конечного результата — самого смысла труда — и постепенно приучен был считать главным в своем труде не землю, а трактор, комбайн или иную какую сельскохозяйственную технику, от исправности или неисправности которой зависел его заработок. И он обихаживал в лучшем случае эту свою машину, а не землю, дававшую урожай. Мне кажется, у нынешнего земледельца-механизатора, да еще широкого профиля, как мы называем его, выработалась даже своя особая психология, схожая с психологией, скажем, токаря, работающего на станке, но не хлебороба и пахаря. Не знаю, кто сегодня осмелится назвать это явление положительным, может быть, только тот, кто не ходит в продовольственные магазины и не видит, чем и насколько заполнены прилавки. Если говорить конкретно об отторжении человека от земли, то не есть ли это один из самых наглядных примеров? И как следствие такого отторжения — нравственное и духовное

обнищение. Отсюда и пьянство, и бесхозяйственность, и множество других, не привнесенных, а порождаемых действительностью пороков.

Совсем недавно в журнале «Наш современник» я прочитал подборку писем и комментариев к ним об алкоголизме. Факты, которые приводятся там, ужасны, особенно рождение дебильных детей, и нельзя не согласиться с выводом, что при таком положении мы не можем рассчитывать на быстрый подъем науки, культуры, инженерной или агрономической мысли. Но, думаю, дело тут не только или, вернее, не столько в принятии «сухого закона». «Сухой закон» — это та же полумера, которая не способна, как всякая полумера, решить проблему. Главная причина пьянства, на мой взгляд, заключается не только в том, что магазины наводнялись вином и водкой и что нас учили «культурно» пить. Душа человеческая опустошалась. У человека отняли, по существу, единственную и главную возможность — утверждать себя трудом, который приносил бы не только государству, но и самому труженику и семье благополучие и достаток. Взять хотя бы рабочего на заводе, где он может в ы г н а т ь до 200—300 рублей; однако сможет ли он на эти 200 рублей при нынешних кооперативных ценах продержат семью — не знаю. У колхозника рабочий день от зари до зари, но и здесь до сегодняшнего дня он, в сущности, был поставлен в один ряд с другими, труд его обезличен, а ведь, если разобраться, люди все разные: одни более хозяйственные и сообразительные, другим хочется подольше отдохнуть, увильнуть или сделать работу спустя рукава, и все поставлено так, что трудно проверить, а еще труднее — наказать рублем, и в такой обстановке можно ли говорить об инициативе и рдении? Система складывалась так, что только там, где бригадир или председатель болеют за дело, и достаток, и порядок (то есть упор на сильную личность, а не на такую основу труда, на которой могли бы естественно и безотказно работать все звенья механизма), а где нерадивый, там и отставание, и нищета. Но где же взять н а в с е х золотых председателей? Их не набрать, даже если учредить некую председательскую, что ли (наподобие Академии общественных наук или Генерального штаба), академию. Приходилось встречаться с явлениями, вообще выходящими за всякие рамки, но и они, по-моему, все от того же корня. С поля, с которого всегда брали только по 12—15 центнеров зерна с гектара и радовались этому, стали затем собирать по 30 центнеров только оттого, что законопатили щели в комбайне. Что же получалось? Выходит, из года в год ровно половину урожая тут же рассевали? Я видел поля после подобной уборки, когда случалось им не вспаханными уходить под снег. Весной так бурно появлялись на них пшеничные всходы, что по плотности травостоя их можно было сравнить лишь с газонами в английских парках.

Писательская профессия, вообще творческая сфера дают человеку возможность проявить себя. Это индивидуальный труд. И получу ли я славу или не получу, но я проявляю себя. Есть ли в какой-нибудь другой профессии столь очевидно выраженная возможность? А ведь она

должна быть, потому что в каждом из людей заложено естественное желание проявить себя. Но, мне кажется, за решением социальных проблем, касающихся как будто всего народа, мы забыли об этой естественной человеческой потребности, представляющей огромнейшую силу и возможности. Стоило, к примеру, чуть-чуть поставить заработок в зависимость от конечного результата, как сейчас же во многом изменилось отношение рабочего человека к труду, потому что он получил пусть условную, еще только в начальной степени, но все же возможность проявить себя. Для сельского же хозяйства это должно стать неперенным фактором. Да, отношение к труду, мы видим, начало изменяться; но того, насколько оно меняется сейчас, далеко не достаточно, чтобы страна стала могущественной и народ жил в достатке и благополучии. Нужно смелее идти дальше и, видимо, приспосабливать не человека к социализму, как мы во многом делали до этого, а социализм к естественным человеческим потребностям, чтобы не разрушались, а укреплялись навыки, традиции и культура народа. Ведь мы живем не для того, чтобы, ухватившись за какую-то одну мерку (одну не подкрепленную жизнью идею), бежать и бежать с ней, передавая из поколения в поколение и не замечая, что тащимся (по многим уже вопросам) почти в хвосте человечества; жизнь моего поколения, в сущности, прожита, мы постояли в очередях, просмотрели завистливым взглядом фильмы, репортажи, оживавшие на экранах телевизоров, и мы сравнивали нашу жизнь с увиденным. Сравнивали — и только, тогда как надо было засучивать рукава и творить будущее. Если какая-то из выбранных нами дорог постоянно приводит в тупик, то почему бы не отказаться от нее и не пойти по новой; ведь мы — люди, и, кроме того, что мы можем придумать для себя схемы бытия, в нас есть естественные, веками выработанные традиции, инстинкты, желания, способности. Они существуют, их никто не отменял. Их могла отменить только лженаука, как это сделано было с генетикой, да, только она могла объявить несуществующими естественные потребности и способность человека. Но если мы признали ошибку с генетикой, то почему не признать столь же очевидных ошибок в другом?

Меня часто спрашивают: была ли ошибкой коллективизация или нет? Вопрос сложный и хитрый. И провокационный. Прямой вопрос, и на него ждут прямого ответа. Если коллективизация не была ошибкой, то почему же пусты прилавки? Если же она была ошибкой, тогда естественно, что прилавки пусты.

Можно ли вот так оценить тот огромный процесс, происходивший в стране? Не знаю. Но что касается прилавков — так думает каждый простой человек, потому что он идет именно к прилавку и у него от пустых прилавков пустеет в душе.

Сколько бы голодному ни говорили философских истин, он сыт не будет. Голодный, он думает о еде, а не о философских понятиях, которые ему подсовывают на обед.

Нет, у нас в стране не голод. Но разве все мы (впрочем, за известным исключением, которое настолько вошло в привычку, что кажется даже совершенно законным) не стоим в очередях, не ощущаем недостаток в количестве продуктов, в их разнообразии, в их качестве? У нас сейчас еда настолько однообразна, что люди болеют от плохого, неправильного питания. Все рецепты кухни нашей забыты.

Я хорошо помню, как из Алма-Аты приезжал в Москву со своими первыми рассказами. Чтобы попасть в Союз писателей, выходил на Красной Пресне. Там были бубличные, в которые всегда можно было зайти, взять полстакана сметаны, пару свежих бубликов, посыпанных маком, ароматных. Простая еда, она стоила копейки; она и сейчас не больше бы стоила, но тогда сметану можно было есть ложкой, а сейчас нужно пить, как кефир; да и с бубликов тогда почему-то не осыпался мак... Но все это было пущено под бульдозер, все эти бубличные, блинные, закусовые, маленькие кафе, и им уже нигде не нашлось места. Вместо них на первых этажах расселились всяческие конторы, и станция метро «Краснопресненская» красиво и одиноко возвышается теперь среди оголенного пространства.

Мне это напомнило эпизод, который произошел на Архангельском бумажном комбинате. Директор комбината пригласил нас в музей и стал показывать, что было здесь, когда комбинат только еще строился. А было — тайга... Вековая. А сейчас стоит это здание комбината и на сотни верст — степь. Голая степь, и только маленький садик перед фасадом управленческого корпуса. Уничтожили все на сотни верст вокруг.

А у нас в Москве — Нагатинские поймы, где колоссальная была земля — привозной чернозем, там же были деревни, которые снабжали Москву овощами. А сейчас — многоэтажный район, и земля, завезенный чернозем, ушла под фундаменты. Все новые районы — это бывшие деревни. Это земля, на которой все росло и кормило Москву; это столетиями удобренные черноземы. Москва лишилась их. Думали, что нам будут везти из Грузии, самолетами из Узбекистана...

Или взять хотя бы наше Нечерноземье. Пахотный слой невелик, и соха, как ни странно, была здесь в самую пору. Когда явился плуг, его не всегда употребляли, а если и пользовались, то осторожно, пахали на 12—13 см глубины, потому что глубже уже залегаёт глина. Научное земледелие, которое часто решало у нас задачи только глобального масштаба, применительно сразу ко всем регионам, выдвинуло тезис глубокой вспашки, и следует ли говорить, что произошло с пахотными угодьями Нечерноземья... Я агроном, меня учили, тоже учили глубокой вспашке; все мы тогда преклонялись перед Лысенко, а то, что было против Лысенко, было от лукавого. Пахали с усердием, но, правда, была еще возможность не наделать глупостей, был плутарь, который поднимал плуг, как только видел, что выворачивается глина. Но сейчас плугарей нет, сейчас тракторист зацепил плуг, сел в кабину и пошел, не оглядываясь. Так мы вывернули в Нечерноземье глину на огромных площа-

дах. А вывернули — обратно не положить; и превратили землю, которая кормила, имела плодородный слой, в нечто среднее, что ни пашня, ни глина, а так, суррогат какой-то. Научное земледелие развивалось, отмечая советы народного академика Мальцева, отмечая крестьянский опыт работы на земле.

Но народ верил — ведь наука рекомендовала! Наш народ доверчив. Да его еще и приучили к доверчивости, вернее, переломили в нем доверие к опыту предков требованием безоговорочного подчинения науке. Признавая на словах опыт народа, мы в то же время только и делаем, что без конца поучаем его; и до того допучались, что самое элементарное в его труде открываем ему как истину. Недавно в телепередаче рассказывали о новой научной разработке. Суть ее в том, что коров, оказывается, можно пасти вместе с телятами, которые при коровах и растут, и не надо косить траву летом, скот сам будет нагуливать и т. д. Но это же мужик делал всегда! Столетиями делал! А тут — как открытие. Учат народ тому, что он делал веками.

Так вот и загубили многие земли в Нечерноземье. Земля стала бедной, сорной. А она не была по всей стране настолько сорной, как теперь.

Сколько говорилось: нельзя жесть солому на полях. А жгут. Огромные поля падают осенью, дымят... Жгут, потому что вроде бы стерня пахнуть мешает. Но ведь поле не оттого зовется чистым, что на нем сапог не замарать, как сказал поэт. Не с веником на поле идти надо, а с органикой и не жесть солому, а по-хорошему ее надо бы мельчить и оставлять на поле.

Сейчас, разумеется, многое меняется; но и многое разумное, что предлагается сделать, остается хорошим лишь на словах, а как доходит до низов, получает другую интерпретацию. Например, было хорошее решение: излишки каждое хозяйство может везти на рынок, продавать, а выручку — на восстановление и развитие своего потенциала, то есть в свое распоряжение. Но вот с чем в прошлом году довелось мне столкнуться на Дальнем Востоке. Агропром в это решение внес свои поправки. Сказал: хорошо, продавайте, но вырученные деньги сдавайте все в кассу агропрома, а мы посмотрим, какому хозяйству и сколько дать. И хозяйства (правда, не все) один раз вывезли излишки на продажу, сдали деньги в кассу агропрома, а больше уже не повезли. Мнение одно: что же, я выращу, продам, а получит тот, кто не утруждал себя? Вот такая интерпретация на местах, уравниловка то есть, живое, настоящее дело, которое и стимулировало бы хозяйство, и обеспечивало бы город продуктами, обесценилось. Какой же хозяйственник пойдет на это? Это же оброк — то, чем хотели бы заняться некоторые руководители агропрома.

Конечно, слабым надо помогать, но не поощрять нахлебничество. А оно у нас развилось в общегосударственном масштабе. Народное на-

хлебничество. Потому что знаем, что даже если плохой урожай вырастим, государство поможет, даст, накормит, голодным не оставит.

Вот так. Что-то исправляем, пытаемся сделать, а как доходит до мест — получает другую окраску.

Мы сейчас согласились: «Кубанские казаки» — лакировочный фильм. И противопоставляем ему другой фильм — «Председатель». А они, на мой взгляд, явления одного корня. Лежат совершенно рядом. И «Председатель» далеко не безвреден, потому что возрождает старый, не оправдавший себя (в массе своей) метод администрирования и вновь возвращает нас к «Кубанским казакам». Фильм реалистически начинается с того, что коров поднимают на веревках, а кончается, в сущности, идиллией: идет большое, тучное стадо, — чем не «Кубанские казаки»!

А прилавки пусты. Этот фильм так же, как и предыдущий, уводит в сторону от решения коренных проблем и делает ставку на сильную личность. «Кубанские казаки» — там другое, там лубочные картины благополучия колхозного строя. И эту ложь мы поняли и позднее верно оценили. А «Председатель» появился, когда у нас было уже понимание исторического пути, и трактовать этот фильм как правдивый вредно. Он держится на личности, на председателе. А придет другой? Сколько мы видели таких примеров: уходит головастый мужик — и колхоз в год-два разваливается. Но не может система так работать. Что же, хороший гвоздь вбил — и дом держится, а шляпка слетела — и все развалится? Система социалистического хозяйствования должна быть стабильной и самовоспроизводящейся. А фильм зовет нас на ложный путь, по которому-де можно от нищеты прийти к зажиточности, к тучным стадам и полным амбарам. Но ведь и через 40 лет после той страшной разрухи — а она действительно была страшной — мы так и не пришли к тому, что должен был бы дать нам этот путь, — к решению продовольственной проблемы. Значит, не состоялось? Значит, все это полуправда, потому что сколько бы ни реальны были картины разрухи и сколько бы мы ни гнали через экран тучные стада — они есть, конечно, в отдельных хозяйствах, — все это полуправда, которой мы отгораживаемся от правды. А она в том, что не осуществилась наша надежда на систему хозяйствования на земле. И этого ни в названном фильме, ни во многих произведениях литературы, к сожалению, нет. И даже сейчас еще выходят фильмы и пишутся книги по типу «Председателя»: хозяйство было слабым, разваленным, но пришел деятельный человек, взялся, увлек — и все пошло отлично, снова тучные стада и праздничные ряды комбайнов на уборке.

Но пока создаются такие фильмы и пишутся такие книги, руководство страны ломает голову, сколько пшеницы закупить в Канаде и в каком объеме везти из Венгрии кур.

Впрочем, из Венгрии везти надо, это полезно и в плане социалистической интеграции, да и просто потому, что продукт хороший. Но что удивительно: сколько лет уже возим венгерских кур, сколько лет перед

нами пример производства качественного продукта, а с отечественных птицефабрик по-прежнему так и идет в магазины синюшная, полуочищенная, полупотрошенная продукция, которую хозяйки если и покупают, то с тяжелым вздохом: другого-то часто нет. А уж если на выбор, если венгерские куры появляются в продаже, будьте уверены, на наших и не посмотрят.

И попутно еще об одной житейской проблеме: о культуре работы продавцов, вежливости. Плохо с вежливостью в наших магазинах, ненормально. И чего только не предпринимаем — объясняем, призываем, учим, требуем, наказываем и так далее. Но ничто не действует.

Выход только в том, чтобы был полным прилавок. Пока прилавок не будет полным, пока продавец не будет зависеть от реализованного товара, вежливости от него и требовать не стоит. Сейчас в магазине знают: все равно все раскупится — в очередь, в битву все уйдет подчистую. Все, что завезли в магазин — любого качества зелень, овощи, мясо, рыба, даже зеленые каменные бананы, — все уйдет, еще и не хватает. Ну, конечно, есть магазины, где продавцы стараются и не хамят нам, да только суть-то не меняется: прилавки и в этих магазинах пусты.

Система производства сельскохозяйственной продукции должна сказываться и на их работе. И только тогда изменятся их отношения и их социальные представления, когда у покупателя появится выбор...

Почти все жилищные микрорайоны в Москве выросли на месте прежних деревень. Такова, видимо, историческая необходимость, и все же это пахотная земля, ушедшая под асфальт и камень. Как не подумать о ней? Глядя на снесенную и красную от обнажившейся глины Поклонную гору, на которой должен быть разбит парк, невольно приходишь к мысли: ведь все это придется засыпать черноземом, и не облысеет ли еще одно очередное поле в Подмоскovie? Мало того, что сотни тысяч гектаров пахотной земли, лугов и пастбищ покоятся сейчас под водохранилищами и никому даже в голову не пришло снять и законсервировать плодородный слой (работа дорогостоящая, но не дороже нашей с вами жизни и жизни будущих поколений); мало того, что именно за счет пахотной земли мы расширяем до неохватности свои города и щедро отводим ее под предприятия; но можно ли сосчитать, сколько тысяч гектаров ее либо заболочено, засолено или высушено, либо так перекормлено минеральными удобрениями и разного рода химикатами, а то и просто пущено по непродуманности на ветер (черные бури на целине)? По-моему, ни в одной стране мира не относятся так бесхозяйственно к земле, как относимся к ней мы. Да, мы не знаем цену земле, она у нас и впрямь бесценна, как хлам, как мусор на свалке, и все это, мне думается, потому, что нет у нас до сих пор четкого, ясного и строгого, хочу подчеркнуть, именно строгого закона о землепользовании. Есть Декрет о земле — нужно принять Закон о землепользовании, как принят Закон о промышленном предприятии.

Изменить саму основу землепользования призывает нас жизнь, и я вполне реально представляю, как могут сложиться взаимоотношения в деревне, если на долгосрочной основе закрепится земля, к примеру, за семейными звеньями. Колхознику, взявшему землю в долгосрочное пользование, потребуются трактор напрокат, гарантии по ремонту, горючее, удобрения и т. д. — как аванс под урожай, а председатель колхоза — хозяин общему делу, и ему придется уже работать по-другому. Он уж не позволит, как раньше, принять в колхоз комбайн в полуразобранном виде, и всей связанной с сельскохозяйственным производством цепочке придется перестраиваться, она должна стать в зависимость от производителя. Думаю, что при такой системе понадобится и сельскохозяйственный банк.

У нас сейчас получают признание семейные звенья, но вся работа ведется экспериментально. Нет никаких методологических разработок, мы начинаем опытным путем — и в основном пока в животноводстве.

Меня, и не только, я думаю, меня, чрезвычайно порадовало, когда М. С. Горбачев, будучи в Раменском районе, встречаясь с крестьянами, которые уже несколько лет работают по методу семейного подряда, предложил им взять в аренду и землю, и технику и попробовать перед лицом всей страны (я бы добавил: перед необходимостью скорейшего решения Продовольственной программы) испытать на деле новую организационную форму труда; меня радует, и не только, я уверен, меня, что к сельскому хозяйству сегодня обращено пристальное внимание и ЦК, и ученых, и литераторов, и художников, и рабочего класса. Потому что все мы заинтересованы в одном: в поднятии благосостояния нашей жизни и могущества нашего государства.

Происходящие процессы в сельском хозяйстве — это только первые шаги в поисках новых форм, и я полагаю, что такое изменение самой формы работы на земле скажется самым благотворным образом на духовном состоянии общества. Заполнятся прилавки — начнут заполняться души. Еще древние философы говорили, что любознательность людей, страсть к наукам, к искусствам началась только тогда, когда человек получил достаточное пропитание и время для размышлений. Народ в экстремальных условиях умеет выстоять: скажем, война — народ подтянул пояс и выстоял. Но бесконечным экстремальное положение быть не может. Устанет народ. Сколько ни говори о нравственности, от слов народ нравственной не станет. Нравственность — категория, прямо зависящая от социального. Более того, как только социальное нарушается, нарушается и нравственность.

Нельзя сказать, что народ потерял нравственность. Мы говорим: утрачена. А нужно бы сказать: народ поставлен в условия, когда он забывает о нравственности.

Когда условия трудностей объективны, народ не теряет нравственности, а становится более собранным перед грозящей опасностью, как в минувшую Отечественную, дает отпор врагу. Но когда условия субъек-

тивны или носят характер догматизма, когда народ видит, что можно сделать лучше, а ему не дают, навязывают свое, он становится вял, пассивен, у людей опускаются руки, и тут уж никакими напоминаниями о нравственных императивах не поднимешь их. Надо заботиться о социальных изменениях, в основе основ которых лежит наше отношение к земле и хлебопашцу.

Земля!..

Земля!..

Разумеется, я не открою истину, если скажу, что самым бесценным богатством, каким обладает человек, является земля. Она прародительница всей нашей жизни; она вскормила человека, поставила его на ноги и открыла дорогу к цивилизации и прогрессу, и человек издавна лелеял и обихаживал ее. Он поклонялся земле и обожествлял ее, проливал на ней пот и кровь и вкладывал в нее свою живую душу, но если взглянуть на весь исторический путь человечества с точки зрения его отношения к земле, то можно увидеть, что в разные времена оно бывало разным и часто в действие вступало одно довольно простое и естественное обстоятельство, а вернее, слепая вера в то, что земля способна родить вечное, что она самовосстанавливается, и потому — что же особенно заботиться о ней, а тем более о земледельце, который, в сущности, лишь пашет, сеет и убирает, а все остальное — от природы, то есть дается даром. Да, такой взгляд бытовал, и, может быть, только тем и можно объяснить извечное (и столь живучее!) отношение к деревенскому человеку, когда на протяжении столетий его, основного кормильца всех слоев общества, какими только способами не пытались отгородить от земли: и отдавали в рабство, и закрепощали, и приписывали к монастырям или к замкам. Такое отношение к хлебопашцу, мне кажется, от практического земледелия перешло в науку. Разумеется, я не берусь утверждать с точностью и тем более в глобальных масштабах, для чего потребовались бы несколько иные знания, чем те, что в свое время я смог получить в сельхозинституте, но мне кажется, что все или почти все, с которыми я знакомился, исследования, начиная с тех давних времен, мало учитывали или почти не учитывали в агрономической науке (я пользуюсь современным термином) человеческий фактор.

Но человек и земля неотделимы. Сменялись социальные формации, менялись взгляды, менялась философия и, естественно, вместе с ней в какой-то степени и наука о земледелии. Однако, исследуя порой самым скрупулезным образом исторические эпохи, то есть народные возмущения, бунты, войны, смены династий и королей, мы почему-то оставляли как бы за бортом самое, может быть, важное и естественное, что можно было бы охарактеризовать как именно применение рабочей силы в сельском хозяйстве, иначе — тот самый человеческий фактор (применительно к деревне), о котором мы все так громко заговорили теперь.

Мне кажется, что одной из причин (одной из многих и, может быть, более важных, но не вполне изученных) падения рабовладельческого строя явилось то, что раб, то есть человек, работающий из-под палки, не мог работать на земле так, как следовало бы работать хлеборобу, государства беднели, народы нищали, и, естественно, лучшие умы начинали искать выход из такого положения. Это же явилось одной из причин отмены крепостного права в России, которая, как известно, произошла более сверху, чем снизу, потому что бесправный человек и относился к работе на земле как бесправный. Предлагаю взглянуть на проблему именно с этой стороны (потому что с точки зрения богатых, бедных и революционности масс она уже рассмотрена), и, если хотите, вот еще пример — с монастырскими рабочими, которых нужно было тоже подгонять палкой, и такая система должна была уступить место другому социальному началу.

А вот прямое свидетельство человека, которому нельзя не верить, — это Александр Николаевич Радищев. В своем знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву», в главе «Любань» он приводит следующий разговор с крепостным крестьянином, с которым встретился на ниве: «Велика ли у тебя семья? — Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок. — Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным? — Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает, а как эта устанет, возмешь за другую; дело-то и спору. — Так ли ты работаешь на господина своего? — Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растягнись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика». Если взглянуть на этот описанный Радищевым эпизод не так, как мы обычно смотрим и воспринимаем его, но несколько изменив ракурс, то есть с точки зрения крестьянской (и естественной в нем) психологии, то без труда можно заметить, что психология крестьянина мало в чем изменилась с тех пор. На своем личном участке и колхозник работает в три жилы (о чем говорят урожаи, снимаемые с огородов), и подряд — оплата по конечному труду — более по душе и ближе ему. Пусть не упрекнут меня в каких-либо предвзятостях или, того хуже, в надуманности (в социальном плане) подобного сравнения; то были одни времена, а теперь другие; но повторяю, мне хочется проникнуть в основу основ человеческой жизни, к тем естественным в человеке пружинам, которые способны или не способны вызывать желания, инициативу и потребность; и в этом плане сравнение, мне кажется, и правомерное, и достойное пристального внимания к нему.

Радищев же, но уже в другом своем очерке, приводит довольно любопытные цифры: сколько людей, скота и прочей живности максималь-

но могло прокормиться (в те, разумеется, годы и с теми условиями сельского труда и быта) на десятине земли. Он брал в пример наше Нечерноземье. Мы, кстати, такого расчета не делаем, а может быть, и напрасно; напрасно потому, что могли бы, кроме всех разработанных ныне научных методов ведения земледелия, разнообразия и мощностей техники, подключить и человеческий фактор. Подобное исследование могло бы показать нам (и тоже в цифрах), что когда земля была отдана крестьянам (за определенный выкуп, конечно) и когда русский крестьянин стал с любовью прикладывать к ней руки и душу, она вдвое и втрое дала больше зерна и кормов, чем предполагал Радищев. Эта же земля теперь со своими запустевшими селами опять как бы впала в спячку, и мы бесконечно жалуемся то на плохую погоду, то на никудышных председателей, а все вместе, хором — на мужика, русского мужика, который-де не умеет ни обихаживать свою землю, ни жить на ней.

Мнению такое существует. Распространяется оно стихийно, от состояния жизни или умысленно — вопрос другой; но факт остается фактом, и не случайно только по этому краю — Нечерноземью — дважды за последнее десятилетие принимались постановления правительства о восстановлении и развитии его. Но, к сожалению, даже и эти постановления не решили проблем ни в экономическом, ни в социальном, ни в духовном плане. Прилавки наших продовольственных магазинов по-прежнему, мягко говоря, остаются далеко не заполненными, а за пустеющими прилавками мне видятся пустые поля и людские души. Иногда думается, не от широты ли нашей, не от пресловутой ли щедрости мы не хотим сполна использовать весь тот накопленный за века народом опыт, во многом зафиксированный в науке и в еще большей, может быть, степени в литературе, опыт, который во все времена, а теперь особенно так пригодился бы нам в наших сегодняшних начинаниях.

Писатели XIX века, и в частности великий Толстой, прямо указывали на этот опыт, говоря о земле и человеке на ней. В литературе того времени, да и не только в литературе, вопросы земледельчества выдвигались как жизненно важные и первостепенные, и не потому, что Россия в то время была страной по преимуществу аграрной. Наверное, мы тоже ныне не могли бы упрекнуть себя в том, что держали сельское хозяйство в забвении; нет, напротив, разных решений и постановлений по укрупнению, разукрупнению и т. д. было принято нами столько, что один перечень их мог бы занять целую страницу, а результат? Хотя и постепенное, но неуклонное сползание к продовольственным (и кормовым) нехваткам и однообразию. Более того, всеобщей уравниловкой мы помогали развиваться до непотребных максимумов иждивенческому началу у сельского человека, поставляя ему — урожаем, неурожаем и по природным ли условиям или от нерадивости — как пособие необходимые средства для жизни. Целые совхозы были на дотации, и причем долгие годы, а многие продолжают оставаться на дотациях и теперь, но не прогорают, не разоряются, более того, требуют все новых и новых из госу-

дарственного бюджета средств, теперь уже и на культурное строительство, и на иные социальные блага.

Цели республики и сейчас не выполняют Продовольственную программу, и это тоже факт. Я думаю (иронически, конечно), что если так пойдет и дальше, то никаких Аргентин и Канад нам не хватит.

Но нынешние перемены все же радуют и обнадеживают, и, может быть, с внедрением бригадного и семейного подряда и будет найдена новая форма труда в сельском хозяйстве, то есть найдена та естественная пружина, которая бесперебойно, без подмазок будет пробуждать в человеке и поддерживать в нем инициативу к труду. Но, может, формы эти — лишь первый шаг в начинающемся огромном деле — перестройке, и следует пойти по этому пути смело и дальше и начать закреплять наконец на долгосрочной основе землю за семейными звеньями. Подобная организационная форма, я убежден, не противоречит методам социалистического хозяйствования, а, напротив, только обогатит и укрепит их, у земли вновь появится хозяин.

ВОКРУГ И РЯДОМ

(Из записной книжки)

Мне кажется, что человечество никогда еще не было так едино, особенно в стремлении к миру, и так разобщено в понимании средств достижения его. Над нами нависла такая угроза атомной катастрофы и экологической беды, что Лев Толстой мог бы сказать: самоуничтожение человечества противоестественно разуму. И потому, быть может, так сильно чувствуется движение в защиту мира и экологической среды. Все это, конечно, согласуется с перестройкой, с нашей общей политикой, с нашими чаяниями, но, мне думается, наряду с этими вопросами — и, быть может, острее и глубже — стоит поставить вопрос и о социальной среде жизни, которая тоже требует защиты.

Давайте на минуту представим, что в нравственную атмосферу нашего общества, как в озеро Байкал, из некоей духовной трубы выбрасывается отравляющий поток лжи, лицемерия и демагогии, развращающий всех и все так называемой массовой культурой, которая если и призывает к чему-либо, так прежде всего к пещерным, звериным инстинктам, выдаваемым за символы свободы и демократии, а по существу являющимся всеугнетающей анархией. Это одна сторона социальной атмосферы жизни, которая требует защиты. Но есть и другая сторона этой же социальной атмосферы жизни, которая за шумом и суетой и сегодня остается вне поля нашего зрения. Инициатива во всяком человеке должна быть естественной, то есть желание трудиться должно быть естественным. Но мы сплошь и рядом видим иную картину, на обочине валя-

ются разорванные мешки с удобрениями, и как в отместку за эти деяния (даже мед может отравить организм) на сто метров вокруг все выгорает от избытка химикатов; мы являемся свидетелями тому, как в овощехранилищах тоннами гниют так нужные людям продукты или запахиваются помидоры, так и не убранные с полей, или как в промышленности взрослые люди признаются с экранов Центрального телевидения, что теперь-то, с введением госприемки, наконец-то поняли, что все гайки надо закручивать до конца, а то ведь раньше невдомек было. Каются, распускают речи, наслаждаясь критикой и самокритикой, и... почти ничего не меняют. Можно приводить еще и еще массу примеров из самых разных сфер нашей общей деятельности. Это огромный больной духовный континент в жизни наших людей, который не сразу и не вдруг обозначился в необъятных теперь границах. Мы изучали законы жизни. Одни из них отбрасывали как ненужные, другие поднимали до определенных высот, но что-то же, видимо, было упущено нами; вернее, упущено главное, что позволяло бы, к примеру, колобку общественной жизни катиться не только с горы, но и по ровному месту, имея внутри себя постоянно действующую силу. В чем заключается эта сила? Думаю, не просто и не вдруг можно ответить на этот вопрос. И, уж во всяком случае, она заключается не только в организационных формах. Быть может, найти ее можно в глубочайших традициях народной жизни, в том бесспорном факте, что человек является на свет, чтобы прожить себя.

Раньше крестьянин (как, впрочем, и служащий) утверждал себя в семье и работой: встанет пораньше — больше сделает, больше достаток. Хотим мы или не хотим признать, но мы отобрали у людей эту возможность. По крайней мере так было до недавнего времени. И дай бог, если, перестраиваясь, мы вернем эту утрату. Конечно, колхозник и сегодня может встать пораньше, но он должен дожидаться бригадира на колхозном дворе, который накануне справлял свадьбу и до сих пор не протрезвел, а председатель, не сумев отстоять сроки сева, не знает, что делать, и вынужден отдавать приказ бросать зерно либо в мерзлую, либо в сухую землю.

А что происходит на заводе? Все «от» и «до»: как рабочие часы, так и лимит заработка. И что тут остается делать? Хочешь — иди забивать «козла», а хочешь — в пивную. Вот такая ограниченная география, ибо человек оказался лишенным той главной двигательной пружины жизни, которая всегда и во всем поддерживала его желание трудиться. Философы прошлого приписывали это собственничеству, предупреждая, что с ликвидацией частной собственности произойдет деградация человека. Общее выражение «хозяин всему» оказалось лишь выражением. Это тоже следует признать. Однако мы обязаны были найти ту пружину в человеческом механизме, которая бы не только безотказно, но и с боль-

шей отдачей могла бы действовать (разумеется, в рамках социалистического хозяйствования). Я убежден, что такая пружина есть, существует, и мы бы нашли ее, если бы правильно приложили усилия; но мы прилагали усилия совсем иного рода, технического, если можно так сказать, то есть разрабатывали грандиозные проекты переустройства природы — перекрывали реки, затопляя деревни и пахотные земли, а главное, не думая о людях и нравственных последствиях подобных проектов, имея в виду лишь энергетическую обеспеченность промышленности; распахивали поймы, луга, пастбища, чтобы только увеличить посевы зерновых, тогда как можно было бы сделать упор на повышение плодородия и на подъем духа человека, нравственно связанного с землей. Однако ни в одном из этих проектов мы почти не учитывали, как принято теперь говорить, человеческий фактор, не ставили в центр дела моральные и социальные интересы. Что значит нравственная связь с землей? Земля, мать наша, из века в век кормила человека, а он, по существу, начинает отторгаться от нее, в результате разрывается эта нравственная связь.

Одним из самых больших упущений явилось то, что мы отодвинули на второй или даже на третий план гуманитарное образование. Оно и только оно дает возможность любому технически образованному специалисту соотносить свои разработки и дела с экологической и нравственной средой обитания. Только что состоялся съезд учителей России. Делегаты давали интервью Центральному телевидению, и, как я уловил, главная тема, которая затрагивает их, — самостоятельность учителя. Видимо, в этом действительно что-то есть. Но в самостоятельности ли здесь дело? Не попахивает ли здесь «итальянским вариантом», когда родительский совет самовольно определяет направление и программу той или иной школы: быть ли ей католической, изучать ли математику, историю или что-то еще. Не лучше ли нам продумать вопрос о более объемном и действенном гуманитарном обучении — обратить человека к его человеческим достоинствам, к умению любить, ценить и умножать красоту как природы, так и сути самого человека.

Что касается литературы, то тут тоже есть свой перекосяк: особенно наметилась тенденция обвинить народ во всех наших грехах и недостатках. Народ не может потерять нравственность. Все в мире связано и обусловлено, и не лучше ли взглянуть на обстоятельства, в которых рождаются все эти перекосяки? Тревожит меня и критика, которая, не разобравшись, возвеличивает именно это направление в литературе; направление, охаивающее народ. У всякого человека, как и у общества в целом, есть предел восприятия негатива; должен же быть и положительный заряд, иначе в душах людей могут произойти необратимые порочные изменения.

СЕРЕДИНА ПУТИ

Наступает период, когда человеку хочется остановиться, осмотреться и взглянуться в будущее. Видимо, для всех нас, я имею в виду не только писателей, а всех советских людей, рискну сказать даже — для всего прогрессивного человечества минувший XXVII съезд КПСС явился такой вехой в жизни. От него, с его высоты, мы лучше видим пройденную даль и отсюда же, с этого рубежа, смотрим в будущее. Глубоко убежден, что всякий человек или общество в целом, то есть народ или государство, всегда должны ощущать себя в середине пути. Есть прошлое, настоящее и будущее, и между этими понятиями, определяющими жизнь, существует связь, которую прерывать нельзя. Думаю, что это одинаково можно отнести не только к науке и культуре, но и ко всем другим сферам нашего бытия. Разрыв и забвение прошлого чреваты ошибками, за которые приходится затем расплачиваться не одному поколению людей.

Во время войны, например, в 1943 году, когда ввели погоны, мы почувствовали себя корнями, связанными с прошлым нашего государства, с его патриотической историей. А ведь для нас еще свежа была гражданская война, и я по отцовским рассказам знал о ней. И вот мы, которые смотрели фильмы, где били беляков-золотопогонников, мы, воспитанные в совершенной ненависти к погонам, восприняли их на своих плечах как символ связи с героическим прошлым нашего народа, с его историей, в которой были и Полтава, и Бородино, были Суворов, Кутузов, Нахимов, наконец, Куликовская битва. Говоря иначе, мы осознали себя в середине того нелегкого пути, какой выпал на долю нашего народа, и причастность к этой общей, живой и могучей силе удвоила, утроила, удесятерила наши.

Конечно, было бы неверно сказать, что мы одержали победу только потому, что надели погоны; но что это помогло нам одолеть врага, бесспорно и неопровержимо. Думаю, не случайно были введены и ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского; уже одни имена эти напоминали нам о славе русского оружия, о сражениях, в которых русские люди отстаивали свое Отечество.

Этот и множество других примеров, которые можно было бы привести здесь, еще и еще раз убеждают меня в том, как важно постоянно ощущать себя в середине пути, учиться у прошлого, извлекать уроки из него, думать о будущем и соизмерять, соединяя эти два крыла настоящим, то есть тем отрезком жизни, который дано пройти нам и в котором нам предстоит оставить свой добрый или недобрый след.

Перед войной мы жили в Намангане. Я учился в сельхозтехникуме. На лето мы уезжали на производственную практику в учебное хозяйство. Помню, что в нашем подсобном хозяйстве были кони, прекрасные, с армейским клеймом. Они считались призывными, их в любой день могли взять на строевую службу. Мы ухаживали за ними, ездили на реч-

ку покупать их. А рядом был колхоз, окруженный хлопковыми плантациями, на которых мы и работали все лето, — пололи, чеканили, а потом убирали под знойным азиатским солнцем.

Я помню людей (по сохранившимся юношеским впечатлениям) — это были добрые, хорошие люди. Они с любовью относились ко всякому делу: к земле, к своей работе и дому, и к нам, молодым; куда бы мы ни приходили — на бригадный стан или на бахчи, например, нас всюду встречали с теплотой, старик сторож приносил дыню, мы садились вокруг нее, ели, разговаривали. Что-то во всем этом было невероятно доброе. Вынес я оттуда, от того времени, впечатление обилия, если можно так сказать, обилия жизни самой, обилия души, добрых чувств.

Очень хорошо помню нашего начальника учебного хозяйства. По тем временам он казался нам человеком старым, хотя ему не было и сорока. По специальности агроном, он зимой преподавал, а лето проводил на учебном хозяйстве и руководил нами. Это был очень интересный, добрый человек. Любил рассказывать, играл с нами в волейбол, в футбол и выходил с нами на плантации. А ведь у него была семья. Были дети, требовавшие присмотра, но он отдавал нам и свое время, и душу.

Был среди преподавателей техникума еще один человек — военрук, которого мы любили и который многому и многому хорошему научил нас. В моем представлении он и теперь словно вот только вернулся из лихой буденновской атаки и весь еще поглощен боем, возбужден и счастлив своей (так перемчивой для солдата, теперь-то я хорошо знаю) удачей. Кем военрук был в армии, не знаю, может быть, рядовым, может, командиром взвода, эскадрона, но что прошел гражданскую, было видно по одному только взгляду на него. Он носил усы. Пушистые. Красил их. Сам седой, а усы черные, молодые.

Он по-своему организовал нас и втягивал в атмосферу времени. Мир тогда готовился к войне, у власти в Германии был фашизм, и хотя в газетах не писалось, что вот-вот грянет война, но гроза ощущалась, и, видимо, старшее поколение хорошо чувствовало это. Вечерами, иногда и по ночам мы вместе с военруком разыгрывали бои. Бились «красные» с «белыми», с «басмачами». Нам было интересно, нас, в сущности еще мальчишек, это вдохновляло, и мы как бы исподволь готовились к величайшим событиям.

И события эти пришли, грянула Великая Отечественная война.

Вся предвоенная обстановка запомнилась мне как нечто доброе, сулившее хорошее будущее. Как будто не было зла, не было обмана; мы верили, что жизнь чиста, что мы входим в нее с открытой душой, что мы найдем полное взаимопонимание с окружающим нас миром. И война, хотя это и жестокое дело, не приучила нас к злу. Мы только еще больше узнали силу товарищества, доброты и дружбы. Но послевоенная обстановка, та гражданская жизнь, к которой мы вернулись, предстала перед нами совсем не такой, какой мы помнили и воспринимали ее. Более сложной и многозначной.

Демобилизовался я в декабре сорок пятого. У меня были ордена, медали — первая «За отвагу». Но пришел, снял погоны — и ни образования, ничего. Я не представлял себе размаха тех разрушений, какие нанесли нам война, тех страданий, усилий, что ли, какие затрачивались нашим народом в тылу. Думаю, что и многие не представляли себе этого. И до сих пор не могу унять сердечной боли: великому народу, одержавшему великую Победу, нужно было после войны начинать устраивать свою жизнь почти с нуля и такими усилиями, какими, видимо, не приходилось никогда никому устраивать.

Вместе со всеми я горжусь послевоенными нашими достижениями: восстанавливали ДнепрогЭС, отстраивали города — Сталинград, Минск, Киев, Смоленск, перекрывали реки. Но у меня — может быть, я не прав — закрадывается теперь такая тревожная мысль: а может быть, могли бы мы сделать это с меньшими усилиями и более добротнее, чем мы это сделали, если бы общество с большей энергией боролось против тех, кто пытался взять побольше и отдать поменьше, жить за чужой счет?

Так вот. Я вернулся в Наманган. Пошел в техникум — надо же было заканчивать четвертый курс. А для нас, фронтовиков, там лежали готовые дипломы. И нам торжественно вручили их, а вместе с ними направление на работу.

Говорю о себе, но думаю, что подобная судьба, близкая, похожая, у всего моего поколения.

Меня направили работать в Джамбулский райземотдел. Районный центр в то время представлял собой одну длинную улицу с плоскими глинобитными домиками. Параллельно этой улице протекала далеко в горах река Талас, и вдоль нее, по долине располагались деревни, поля, луга, сады.

Квартиры, разумеется, не было, да и в райцентре найти ее было нельзя. Мне посоветовали поискать рядом, в колхозе имени Сталина, который размещался километрах в девяти от райцентра, в селе Гродиково. И каждый день я в течение двух лет ходил из села в райцентр, вставал в пять, в половине шестого и возвращался лишь к полуночи. В снег ли, в дождь по выбитой гравийной дороге, по грязи, но как-то (от общей ли атмосферы жизни) даже и в голову не приходило, что все могло быть иначе, достойнее, человечнее, что ли. Да, могло быть. Но не было.

Меня посадили за сводки, я переписывал, сочинял их, звонил, передавал — с утра до вечера. И понял, что для этого не нужно было иметь никакого диплома. Достаточно было быть просто грамотным.

Начальника райземотдела мы видели не часто. Он не воевал, как говорили, из-за туберкулеза. Ему было около 40 лет. Лицо круглое, да и весь он был словно налитой, розовый. Он приезжал на прекрасных

дрожах, запряженных парой, и был недостижим для нас, как генерал для солдат.

Потом я стал присматриваться к жизни в селе. Председателем колхоза там был некто Валентьев, очень хорошо его помню. Тоже лет около сорока и тоже не был на фронте. Он въезжал в деревню только на скаку. Под ним огромная, овсом откормленная, сытая лошадь. А все мы в то время получали хлеб по карточкам. Он прыгивал у своей избы, бил лошадь плеткой по крупу, и та бежала, играя, через всю деревню к специальной конюшне возле правления, где стояла еще и двойка председательских выездных. Седло блестело хромом, поскрипывало, а Валентьев в распахнутом полубубке, победителем, на виду у всех всходил к себе на крыльцо.

У меня такое ощущение, что с тех пор я все время сталкиваюсь с этим странным явлением — в большей ли, в меньшей ли степени. Что это? Как назвать его? Каким-то барством, чем-то забытым, помещичьим самодурством отдает от него.

Могу сказать, что страшно это и странно, что не одному мне, наверное, пришлось после фронта столкнуться с таким явлением: у меня было впечатление, что мы оказались как бы ненужными. Везде сидели люди, сидели председатели, которые не были в основном на войне, но которые были спаяны между собой, и требовались невероятные усилия, чтобы с чем-то новым и нужным пробиться сквозь их стену. Но выяснилось это потом, через несколько лет, когда Валентьева сняли и судили, не вся жизнь его была на виду. Оказывается, вместе с компанией таких же руководителей (замешаны были и наши, из райземотдела) он ездил «инспектировать», как подавалось тогда, колхозные стада, которые паслись на джайляу, то есть на отгонных пастбищах. Уезжали верхами, на лошадях, а за ними отправлялась телега с водкой, и они неделями там гуляли, а потом возвращались опухшие, красные. На виду у всего села жена Валентьева встречала своего супруга руганью, была валенком по голове.

А народ работал. В полях. Помню старика Евсеева, основателя этого колхоза, бывшего председателя. В свои семьдесят лет он не оставлял колхозной работы. Помню, как он возился с лошадьми после «инспекционных» поездок Валентьева. Сокрушался, лечил, потому что придут лошади, а у них под седлами сбиты бока, кожа содрана, кровавые раны. Он с утра до вечера ездил по полям, смотрел, как обрабатывали землю.

В то время трактористы МТС не все были заинтересованы в колхозных делах. Гоняли трактора по полям, а как пахать — мельче, глубже, — не обращали внимания. И старик Евсеев вызвался в добровольные контролеры, уговаривал трактористов, ругал — он был из тех, кто в действительности держал на себе хозяйство. Он был коммунистом. Но нелегко было противостоять гродиковскому председателю.

Конечно, не везде так было, не вся страна так жила. И, может быть, если бы не валентьевы, мы бы не запустили так наше сельское хозяй-

ство. Что, истощались наши земли? Но народный академик Мальцев говорит, что нет естественного истощения земель, что истощение — только дело рук человека и что можно не истощать, а восстанавливать плодородие. Может быть, виновата здесь и наша безалаберщина, недалеко видность?

Мы видим сейчас, как открываются одно за другим преступные дела — с приписками хлопка в Узбекистане, судебное ростовское... Да их и не перечислить. По телевидению показали недавно квартиру, которая была уставлена награбленным антиквариатом. Это отечественный миллионер, где, как и почему он мог награть столько? Да это же валентьевы! Им не нужны перемены, они присосались к жизни, и тянут из нее, и обирают народ.

Довелось мне после войны поработать и на заводе. Учился в институте и работал на алма-атинском заводе ферментации табаков.

Мы переносили тюки с табаком в складские помещения и в камеры ферментации. Не было тогда ни элеваторов, ни автопогрузчиков, и я предложил небольшую механизацию. Сделать совки, чтобы со второго этажа на первый подавать тюки. Незамысловатое предложение, но помню, какое сопротивление встретило оно. И прежде всего от руководства, которое было против любой реорганизации. Реорганизация меняла условия труда, оплаты, то есть надо было переходить на новые формы, на новые расценки.

Почему же не были заинтересованы руководители, которые должны были думать о том, как повысить производительность, уменьшить потери ценного сырья? Да потому, что пригрелись на теплом местечке, а дальше — хоть трава не расти. Был на заводе коммерческий директор Гусев, и, может быть, меня упрекнул, но я опять скажу — не фронтовик, не знаю, по какой причине. Он разъезжал на двухцилиндровом мотоцикле, лихо, как Валентьев, подъезжал к воротам, они перед ним мгновенно распахивались, и он влетал во двор. На крутом вираже как бы отпуская свой мотоцикл — его подхватывали двое-трое рабочих, ставили в гараж, там чистили, смазывали и прочее. Зачем такому Гусеву было что-то перестраивать, кому-то облегчать труд, о ком-то заботиться?

Со временем завод превратили в цех табачной фабрики, и оказалось, что не нужен ни директор, ни коммерческий директор, и вся «руководящая» надстройка, которая столько лет существовала и ничего не делала, оказалась лишней.

Мы сорок лет после войны твердим о рационализации, о новых формах организации производства, но и сегодня снова вынуждены говорить это же. Слушая сейчас все критические выступления и речи с трибун, читая в газетах, удивляюсь, что и поныне, оказывается, существуют подобные заводики, о каком я рассказывал. Они выпускают, скажем, не табачки, а шьют рубашки или делают кастрюли, еще что-то — маленькие, плохо оборудованные, несовременные, но на них полный штат: дирек-

тора, плановики, коммерческие директора — руководства чуть ли не больше, чем рабочих на этом предприятии.

Конечно, хорошо, что мы сейчас взялись засучив рукава менять все это, переводить производство на качественно новый уровень. Но горько и больно, что мы этого не сделали или мало что сделали в прошедшие годы.

К сожалению, к великому сожалению, и в литературе во многом сегодня сложилась такая же почти обстановка, как и в тех других сферах жизни, которые подвергаются сейчас острой партийной критике. Все ли в порядке в нашем главном деле, в издательском? Не слишком ли обросли (за долголетия своей службы) приятельскими узами наши редакционные советы и особенно так называемые активы рецензентов (кормящихся на этом хлебе!), иначе чем же объяснить поток серости, о котором мы теперь говорим почти со всех возможных трибун, но который (магия, фантастика — и только!) продолжает разрастаться и наводнять прилавки книжных магазинов? А наше отношение к молодым? На словах — распахиваем ворота, а на деле (из-за боязни, что ли, что придется потесниться для них) оставляем такую щель, что в нее и не пролезть настоящему таланту, не оторвав пуговиц. Между тем вслед за «военной», или «лейтенантской», как ее еще называют, вслед за «деревенской» (позволяя себе эти условности только для наглядности) уже в полный рост встала литература так называемых «сорокалетних». Принав лучшие традиции русской и советской классической литературы, писатели этого поколения вместе с тем несут свое видение мира; о них можно сказать, что они знают, о чем писать и как писать; их творчество — глубоко партийное и глубоко народное. Но за этим поколением просматривается и уже начинает заявлять о себе более молодое, которое тоже потребует определенного внимания. Однако не такого, которое, к сожалению, во многом вошло у нас в практику, когда писатели, в сущности, изначально уже ставятся (и если бы только по таланту!) в неравные условия и разделяются на любимчиков и нелюбимчиков, и не только, вернее, не столько достопочтенной нашей критикой и сотрудниками соответствующих отделов журналов и газет, но, что особенно прискорбно видеть, руководством Союза писателей и даже во многом теми, кто уже в силу своих полномочий призван блюсти социальную справедливость. Печально все это и пагубно — как для талантов, так и для всей отечественной литературы.

Неужели мы не поймем и не исправим это? Исправлять придется. Ведь высший партийный форум потребовал решительно обновлять методы деятельности творческих союзов.

Вот сейчас мы начинаем внедрять эксперименты во все сферы нашей экономической, а следовательно (так как социальное и нравственное всегда лежит вместе), и нравственной жизни. Мы как будто только теперь узнали, что жизнь не догма, что она выдвигала и всегда будет выдвигать проблемы, и хорошо, что начинаем осознавать, что, кроме тех

законов, которые мы себе написали, существуют еще, может быть, естественные законы, которых мы не нашли, но благодаря которым движется общество, возникает интерес к обработке, скажем, земли, или к строительству, или еще к чему-то. Может быть, мы упустили из виду нашу интеллигенцию, которая всегда мыслила стратегически? Наука, искусство, политика, философия — как много они могли сделать для общества еще тогда! Ведь мы превратили агронома (вон я когда начинал) в переписчика и собирателя неких сведений. Мы превратили инженера в незаинтересованного работника — получает он мало и бежит продавать яблоки или пивом торговать, потому что там он заработает. Мы не учитываем то обстоятельство, что человек рождается утвердить себя на земле; утвердить в высшем смысле — добром, работой.

Позволю себе еще раз вернуться к деревне. После войны, когда жизнь в колхозах начала постепенно налаживаться, отменили карточки и на трудодни стали выдавать хлеб, а вернее, зерно, то есть платить натурой, общая жизнь в деревне складывалась все же по-иному, чем она выглядит сейчас. То есть она была ближе к тому пониманию деревенской жизни, которая привычна народу вообще, чем прекрасна и привлекательна для русского человека в частности.

Село Гродиково стояло на упоминавшейся уже здесь речке Таласе. В верховьях Таласа, выше села, была мельница с запрудой, изба мельника и амбары. День и ночь крутила эта мельница свои жернова. Приезжали туда из разных хозяйств, чтобы смолоть муки для общих нужд, и просто колхозники, которые тогда еще сами пекли хлеб, калачи и всякие сдобы. Для разных приготовлений нужен был разный помол, и деревенский мельник хорошо знал свое искусство. Не говоря уж о том, что каждая сельская семья могла живо, то есть зримо, пользоваться плодами своего труда, но она могла оценить (на собственный вкус) то, что производила, то есть выращивала для общего стола. Из одного сорта пшеницы бывал хлеб хорош, а из другого — плох, из третьего пекли блины, оладьи, ватрушки — чего только не стряпали! Делали вареники, пельмени. То есть не могу даже и передать, какое было разнообразие блюд, приготовленных из свежих, выращенных и собранных с поля даров. Существовал, если так можно выразиться, круг, который начинался и замыкался на одном и том же человеке — на мужике, и мужик, вернее, колхозник, мог, что называется, вкушать плоды своего труда. Суть же этой замкнутости такова, что она связывала человека нравственно, духовно с землей и с тем, что он выращивал.

Сейчас в деревне не пекут хлеб. Все эти маленькие мельницы с запрудами разрушены, их не существует. Вместо них построили огромные мукомольные заводы при элеваторах, которые должны были заменить, но не заменили сельскому человеку его прежних «удобств». Обезличенная, по единому стандарту упакованная в кульки, мука привозится в рай-

центры. Это в лучшем случае, а в худшем — и в раймагах не всегда можно найти ее. Разбавленная (по ГОСТу) кукурузой, она не всегда пригодна на то, что нужно хозяйке. Из нее уже не выпечешь хлеб. Оладыи если и получаются, то получаются не те, ватрушки тоже не совсем те. Исчезли и сельские сепараторные, в которых можно было для семейных нужд перегонять молоко. Молоко теперь в огромных цистернах увозят на молокозаводы, а обратно оно возвращается уже в упаковках и не имеет вкуса. Войдите сейчас в любой дом в деревне — вас накормят тем же жестким, тяжелым кирпичным хлебом, какой тоннами иногда скапливается в городских булочных. Его выпекают, опять же по ГОСТу, в райцентре, и пока довезут до села, особенно отдаленного, тем более до бригадного стана, он не только черствеет, но теряет все свои качества.

Так ли, иначе ли, но выходит, что деревенский человек лишился многих прежних преимуществ своего жития. На селе уже не пекут ни ватрушек, ни калачей — все стерлось; люди не могут вкусить от плодов своего труда. Стерлось то крестьянское, деревенское, что привлекало и горожан в сельской жизни и что, несомненно, служило одним из стимулов к обработке земли.

Есть ли пути восстановления этой нравственной, а я бы сказал, и духовной связи с землей, с работой на ней — и именно через «вкушение» плодов своего труда? Думаю, пути эти сейчас намечаются. Бригадный подряд, звеньевой, семейный, наконец, — много говорится об экономической выгодности этих форм труда. А я думаю, и пути к утерянной одухотворенности крестьянской работы. Один из путей. А надо искать и другие.

Вот, скажем, народное творчество. Для развития его как составной части культуры общества у нас есть многое: образованность народа, интерес к духовным ценностям и доступность их, глубокие традиции народного искусства.

Мы традиционно считаем народное творчество богатым, самобытным. И верно, мы многое сохранили от дедов и прадедов. Правда, то, что прежде было наполнено грустью, тоской и мечтой о лучшей жизни (предки-то были крепостными), исполняем иногда с залихватской веселостью, ухарски, как если бы тогдашняя жизнь народа была не жизнь, а малина. Столько радости, что где уж нынешнему времени до прежнего. Но это об исполнительстве. А по сути? Народное творчество выражается не только в песнях или сказках. Оно с большой силой влияет на весь уклад нашей жизни и вытекает из нее. И тут у нас, как мне кажется, не все ладно. Взять хотя бы ритуалы новых свадеб, которые никак не могут привиться и бесконечно меняются. Или праздники, которые все однотипны, как будто у нас уже нет фантазии.

С чем все это связывается и с чем не связывается, не могу с точностью сказать. Но как-то не очень верится мне, что людям достаточно тех только песен, что сочиняют профессиональные поэты и композиторы,

или обрядов, придуманных штатными культработниками. И не грустно ли, когда целыми семьями, селами, городами сидим у телевизоров и только потребляем культуру?!

Народ, если обратиться к истории, не может не творить, не может брать только то, что ему подают на блюде. Народ-потребитель — это нежизнеспособный народ. Если появляются симптомы этого, уже надо бить в релс. Да и мне кажется, не в характере русского человека инертность. Чтобы творчество получило ход, нужно открывать какие-то те новые двери, о которых, может быть, мы еще не имеем понятия, но которые существуют в жизни.

Говорят, что самодеятельность дает возможность для творчества. С этим можно согласиться, но с оговоркой. В самодеятельности все равно ставятся пьесы профессионалов, поются песни в основном тоже профессионалов. Самодеятельность такого рода — это лишь скрытая форма все того же потребления готового, профессионально сочиненной культуры. В самодеятельности та же песня, что по радио, по телевизору. И получается, что иной концерт сегодня — это либо мешанина современного со стародавним, либо подражания каким-то образцам псевдопопулярной музыки и исполнительства.

Меня всегдастораживает, когда что-то похожее выдается за истинное. Но не меньшестораживает и, я считаю, приносит вред, когда настоящее, истинное подается облегченно, тогда происходит смещение не только понятий, но и существа дела.

Как-то пригласили меня на встречу со школьниками-выпускниками, которые по окончании собрались идти работать в животноводство. Встреча проходила в огромном концертном зале «Россия». И вот выходят на трибуну взрослые, говорят разные слова ребятам, потом выходят сами ребята, и я чувствую, что в речах их звучит какая-то фальшь. Девочка, к примеру, говорит: я люблю труд животноводов, потому что лучше этого труда нет ничего. Ей хлопают, а она стеснительно жмется. Ей неловко. Неловко потому, что она знает, что сказала неправду и что есть куда более привлекательные профессии. Стать ученым или актрисой, чем же плохо? Нет, не плохо. Но она не может сказать этого, а в сущности, не может объяснить — ни себе, ни другим — свой патриотический поступок. А ведь дело заключается не в красоте той или иной профессии, а в нуждах страны в данной, скажем, профессии на этом историческом отрезке времени. Мы в свое время тоже хотели стать агрономами, животноводами, учеными, артистами, а нас позвала война, и мы стали солдатами. Перед государством и народом стоит сейчас проблема — решить Продовольственную программу, и не по любви, а по долгу должна идти в сельское хозяйство молодежь, и сознавать, и гордиться, что отдает свои силы, знания и молодость общему делу, общему благополучию.

Если тыходишь в жизнь с желанием отдать себя общему делу, совершать, не думая, сколько тебе заплатят (конечно, при этом должна

быть общая уверенность, что настоящий труд будет и оплачен по-настоящему), жить работой, которую ты не просто избрал, а которая выпала тебе и твоему поколению в силу определенных исторических обстоятельств, тогда не придется тебе искать единомышленников по этому духовному состоянию бескорыстности, ты окажешься среди них, и, как на лакмусовой бумажке, проявится зло, против которого надо бороться. Тогда выработается в тебе позиция, партийная по отношению к каждому явлению — нравственному и социальному. Позиция — это первая ступень, которая позволяет стать гражданином.

Думаю, что каждый из нас, формируя свой характер — а я убежден, что человек в очень большой степени строит себя сам, — каждый из нас тем не менее должен осознавать себя и выразителем народного характера. К сожалению, невольно (по количеству исследований о нем) возникает представление, что народный характер — это творение литературы, а не самой жизни. Что народный характер можно найти в литературном произведении скорее, чем в жизни. А с точки зрения литературы народный характер — это некая субстанция, единица измерения чего-то. Но в жизни, по моим писательским и неписательским наблюдениям, это не единая и неизменная субстанция, как она существует в литературе. Более того, народный характер проявляется в зависимости от социальной обстановки жизни в тот или иной данный момент. В одном случае народ взрывается и творит революцию или выходит на Куликово поле, чтобы разбить орды поработителей. Или встает на Бородинском поле. Или, как в этой войне, — под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Он способен проявиться и так — на пустом заснеженном поле в три месяца вырастает завод и выпускает танки.

И этот же народ может как-то поникнуть духом, опустить руки, годами не проявлять себя с той энергией, как это можно было бы ожидать от него. Созерцать, как писал об этом Достоевский. В последнее десятилетие, мне кажется, мы где-то были близки к такому созерцанию. Созвучие этим своим невеселым мыслям я нашел в словах Политического доклада ЦК КПСС съезду: «В течение ряда лет, и не только в силу объективных факторов, но и причин прежде всего субъективного порядка, практические действия партийных и государственных органов отставали от требований времени, самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма — все это наносило немалый ущерб делу. В жизни общества начали проступать застойные явления».

Нет, нельзя говорить о народном характере как о чем-то раз и навсегда определившемся, единой и недвижимой субстанции. Он постоянно в движении и зависит от форм жизни, от социальной обстановки и проявляется именно в зависимости от этих обстоятельств, и литература в изображении народного характера не может идти по одной колее — надо не бояться сойти с нее, а раскрывать все проявления народ-

ного характера, чтобы затем из множества этих проявлений выкристаллизовался тот нужный сегодня тип человека, который бы сейчас активно вошел в перестройку общества.

Я думаю, сегодня общество достигло той степени зрелости, которая позволяет каждому осознать свое место. И молодым тоже. И в связи с этим хочу еще раз вернуться к своей молодости. Не своей лично, а поколения. С одной стороны, наше поколение проявило прекрасные качества — любовь к Родине, умение работать и желание работать. Честность, справедливость — все это было у нас. Но, с другой стороны, перед лицом валентьевых мы как-то спасовали. А вернее, мы вовремя не разглядели в них социальной опасности. У нас было много дел — надо было восстанавливать народное хозяйство, надо было учиться, растить детей. Проблем хватало, и не все и не всегда они решались быстро и наилучшим образом. И в этих трудных условиях, сначала как бы в тени, развивались валентьевы. Может быть, повторюсь, если бы не было валентьевых, мы бы не запустили так наше сельское хозяйство? И если бы мы вовремя рассмотрели инертность таких «руководителей», как Гусев, их сопротивление любой перестройке, не стоял бы сегодня так остро вопрос о научно-техническом ускорении?

Понадобилось всему обществу и нашему поколению тоже немало времени, чтобы возмужать, чтобы зрело и действительно воспротивиться проявлениям валентьевских черт. Эту силу — выступить против носителей негативных явлений и пороков — общество наше накопило не в один день. Мы всегда были против всяческих проявлений зла, но чтобы вот так, как сегодня, выступить против конкретных носителей зла, потребовалась, как видимо, особая, гражданская, а бы сказал, революционная зрелость.

Мне бы хотелось, чтобы это наше достояние крепло и развивалось. Настоящее, осененное двумя крылами — уроками прошлого и стратегией будущего, — рождает надежды.

МЕРА ГЛУБИНЫ И ПРАВДЫ

Ответы на вопросы корреспондента газеты «Литературная Россия», март 1987 г.

— Один критик недавно заявил, что вопрос о том, откуда берется серая литература, не нуждается в разборе конкретных плохих книг. Писатель-де не виноват — как мог, так и написал, а виноваты издатели, взявшие на себя ответственность то или иное произведение опубликовать. Не подменяется ли здесь один вопрос другим: писателю — писателю, издателю — издателю, а если мы начнем говорить о серой литературе вообще, то дальше разговоров дело не пойдет?

— Что сейчас только не пишется в критике! И если принимать все написанное всерьез, то можно оказаться в таком запутанном лабиринте, из которого никакими средствами невозможно будет выбраться.

Печально, конечно, но не замечать этого явления нельзя, потому что на подобные статьи опираются прежде всего молодые писатели, да и доверчивый наш читатель. Как можно говорить о серой литературе, не разбирая конкретных книг?! В таком случае и издатель, которому ставится в вину выпуск посредственных книг, оказывается в затруднительном положении, поскольку и перед ним нет критерия. Издатель — всего лишь издатель, а не Лев Толстой, не Гончаров и не Чернышевский, и литературу он оценивает исходя из уровня своего художественного восприятия. А художественное восприятие зависит как раз от тех художественных критериев, какие должны выдвигаться критикой, и выдвигаться не вообще, не демагогически, а на примере тех или иных книг. Это — первое.

И второе: не всегда верна и оценка критиков, потому что не все критики объективны. Тут вступают в силу групповые интересы, с помощью которых еще больше запутывается дело. И мне кажется, прав тот читатель, недавно выступавший в печати, который сказал, что за пять дней заседаний съезда СП не было названо ни одного произведения, бесспорно отнесенного бы к серым, в то время как все с громом и молниями обрушивались на заедающую нас серость. Симптоматично, если не сказать больше, то есть если не посмотреть на указатель, как раз и приводящий нас прежде всего к укоренившейся в литературе групповщине.

Рецептов, как бороться с серостью, очевидно, много, и они разные; но бороться с групповщиной гораздо сложнее, и, видимо, здесь нужны не только статьи или правильные слова. Видимо, здесь надо руководству СП принять надлежащие административные меры.

И еще о критике. Мне кажется, что утрачены не просто художественные критерии в ней, но утрачена огромная культура, на базе которой критика должна стоять. Происходит словно бы умышленное отторжение современной литературы от богатейших традиций всей нашей отечественной словесности — и тем самым нарушается та естественная и закономерная связь, которая могла бы служить надежной — и важной — основой для новых творческих открытий и поисков. Чтобы похвалить, например, «Пожар» Распутина, то есть поставить его над, над, над всем, что только может сегодня существовать в литературе, небезызвестный критик и в самом, может быть, ответственном издании пишет буквально следующее: что, дескать, повесть эта так хороша и чиста по языку (что в принципе никто не оспаривает), что по ней можно учиться русской грамматике. Я вспомнил, как еще в университете нам говорили, что если и можно по-настоящему научиться русской грамматике, то надо обращаться к романам Гончарова... Но куда же мы денем тогда Толстого, Достоевского с их «некоей будто безграмотностью», но с точным изображением живого русского языка? И еще: в той же статье

о том же «Пожаре», чтобы уж окончательно возвысить его, говорится, что язык автора так хорош и так освобожден от всех придаточных предложений, что лучше и быть не может. Опять же, куда тогда мы денем Толстого с его множеством придаточных предложений, с его музыкой слова, то есть живого русского языка, и с глубиной мысли в этих разветвленных больших предложениях?! Вот пример:

«Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был не вполне доволен, одарил своими собственными, то есть взятыми у других королей, жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую и, нежно обняв императрицу Марию-Луизу, как говорит ее историк, оставил ее, огорченную разлукой, которую она — эта Мария-Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, — казалось, не в силах была перенести».

Думаю, что ни автору «Пожара», ни тем, кто читал статью, такие чрезымерные похвалы не принесли пользы.

Меня особенно тревожит и еще одна тенденция — противостояние критиков писателям, что приобретает сегодня весьма и весьма серьезные формы. Критика — это не разнuzданность, не сведение счетов, и она не может служить целям только личных или групповых пристрастий. Она должна строиться на правде. Но создается впечатление, как будто писатели в чем-то провинились перед критиками, и вот-вот, мне кажется, со стороны критики раздастся возглас: «Ату их! Пишут, понимаете ли, что-то!» Демократия же предполагает по крайней мере равное право высказываться всем, а не поучать друг друга. Думаю, что у писателей и критиков равная возможность соприкасаться с жизнью и знать ее, но почему-то критики полагают, что они все знают и во всем правы, а писателей, как младенцев, надо учить и направлять. Несерьезно.

На съезде писателей СССР во многих выступлениях звучала еще одна настоятельная нота: именно в наше время, время гласности, многие и даже ведущие критики продолжают проводить свою, прямо скажем, вредную политику умолчания. Большое количество литераторов, честно и добросовестно — разумеется, каждый в силу своего таланта — работающих в литературе, остается за бортом, как будто их не существует вовсе. Насколько делается это умышленно и в чем состоит умысел, если он есть, — это вопрос другой. А по сути, — не уподобляются ли такие критики тем людям, которые, облачаясь властью, заставляли навсегда умолкать поэтов и писателей, чье творчество мы только теперь предаем гласности? И вообще, неужели подобные критики всерьез полагают, что только так, по их схеме, и будет всегда восприниматься литературный процесс? Мы хотим, чтобы у нас была литература могучая, сильная, мы хотим, чтобы у нас были хлеб, мясо, молоко, но иногда, видимо, забываем, что хлеб выращивается хлеборобом, молоко и мясо — результат труда животноводов, а книги пишут прозаики и поэты. Но почему-то считается, что мало хороших книг оттого, что плоха кри-

тика и мало ее: мало даже как будто бы самих критиков, и мы выступаем с требованиями увеличить их число. Мне кажется, что мы прибегаем к тому худшему и порочному варианту, когда для того, чтобы вырастить больше хлеба — и лучшего качества, — увеличивается количество толкачей, всякого рода промежуточных инстанций вместо того, чтобы с доверием обратиться к хлеборобу и учесть его нужды. Сегодня мы должны сказать себе, что надо доверять писателям, а не подталкивать их на искоженные, «туристические», в сущности, маршруты за так называемыми героями; у писателя есть свой глаз, свой гражданский долг, наконец, свои пристрастия, опираясь на которые — или, если хотите, с помощью которых, — он может полнее всего выразить себя.

— В своей профессиональной деятельности писатель сталкивается, так сказать, с конечным результатом преподавания литературы в школе, в вузе: с тем или иным уровнем читательской подготовки. Отвечает ли, судя по вашим встречам с читателями, преподавание литературы современным требованиям? С какой аудиторией и по каким вопросам вам было легче найти контакт? Каким вы представляете себе «идеального» читателя?

— Это вопрос очень важный и интересный. Что касается преподавания литературы, то тут всегда можно найти сотни изъянов, и даже не в программе, а скорее в профессиональном уровне того или иного преподавателя. Я не могу судить категорично, насколько наша сегодняшняя литература полнокровно представлена в школьных и вузовских программах, но меня беспокоит другой вопрос: достаточно ли верно — и в художественном, и в идейном смысле — подаем мы сегодня нашему молодому человеку отечественную литературу вообще? Не пролежали ли мы те некогда составленные для нас лежаки мысли, которые давно пора заменить иными, новыми и более верными, соответствующими нашему уровню понимания литературы? Например, как мы подаем образ Платона Каратаева? Вопрос этот не праздный, потому что прежде всего этот образ соотносят с характером русского человека, то есть говоря общенно — русского народа. А ведь это образ сатирический. Давайте обратимся к роману «Война и мир» и вспомним, что в нем есть два противоположных — и не случайно, по-видимому, выведенных автором — типа. Один из них — полковник Мишо, везущий Александру донесение о Бородинском сражении, «хотя иностранец, но русский в глубине души», изображающий «как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным», на что так усиленно нажимает Лев Толстой. И с другой стороны — Каратаев, русский, русский со всех сторон, и круглый, и умеет-то все, но только, впрочем, «не очень хорошо, но и не дурно» и повторяет только: «Родимая, березанька и тошненько мне», а потом садится к «березаньке» и ждет, пока конвойный француз не уьет его — вот два антипода, а между ними есть все остальное население романа, и ни разу Толстой не называет это население русским. Там и Тихон Щербатый, и князь Андрей, и капитан Ту-

шин, и Пьер — кого же представляют они?! Мне кажется, что они-то, со всем своим духовным миром, со всем своим патриотизмом, добротой и мужеством, и представляют русский народ, общество того времени, а Мишо и Каратаев — образы сатирические, написанные Толстым, видимо, для того, чтобы отобразить тогдашние литературные и иные направления в общественной жизни.

Я бы мог говорить и о произведениях Тургенева, Достоевского, что и там можно найти многому и многому новую и более точную трактовку, и если ставить вопрос о преподавании, то, видимо, прежде всего следует ставить вопрос о содержании преподавания.

Может быть, мне в какой-то мере повезло, но я не испытывал затруднений, ни когда встречался со школьниками, ни когда встречался со студентами, ни со слушателями академий или просто с читателями. Речь обычно заходила не только о литературе, но и о жизни: какое наша жизнь получала освещение в книгах, как соотносилась она с мыслями и взглядами автора, а это уже другой вопрос, и он затрагивает и, думаю, всегда будет затрагивать интересы каждого.

Идеального читателя, на мой взгляд, нет, да и не должно его быть. Во всяком случае, в моем представлении все читатели равны — не по уровню образования, своих пристрастий, но по уровню интереса к окружающей нас действительности, и потому, если книга несет в себе этот заряд, она и вызывает читательский интерес, а если нет — откладывается им в сторону. Писать, мне кажется, надо не по расчету на определенную аудиторию, а имея в виду прежде всего те общечеловеческие истины, которые в каждом десятилетии преломляются по-своему и обретают свое звучание.

— Мы не коснулись острейшей проблемы — бездуховности, ведущей за собою и отсутствие социальной, трудовой активности и даже противопоставление себя, своих выгод обществу. Каковы, по вашему мнению, корни бездуховности? Что могут сделать в борьбе с нею писатели, представители других творческих цехов?

— Мне кажется, что все мы в той или иной мере представляем себе, что такое бездуховность, можем рассуждать о ней, но никто еще вразумительно не сказал ни в одной статье, каковы же истинные причины ее. Я не думаю, что бездуховность или духовность зависит не только от состояния культуры того или иного народа; это категория скорее социальная, может быть, более, чем что-либо, подходящая под известную формулировку Маркса «бытие определяет сознание». Корни бездуховности следует искать не столько в литературе, сколько в застойной жизни, в тех осужденных ныне жизненных процессах, которые мы стараемся переломить, изменить, направить в другое русло. Бездуховность родилась как результат насилия, оттого, что человек всегда или почти всегда попадал в зависимость от радивого или нерадивого бригадира, председателя, начальника — и не мог выразить себя. И в городе, и в деревне, и в высоких учреждениях, и в науке, и в искусстве так ли, иначе ли об-

разовывался вакуум из-за отсутствия правды. Человек по своей природе активен и деятелен лишь тогда, когда он видит результаты своей активности; когда же он не может или ему не дают достичь желаемого — по причинам разным, даже от боязни, что он заработает много, — он остается неудовлетворенным и ищет удовлетворения в другой сфере, где мы привычно видим или предполагаем духовные ценности, но где их, ценностей, может как раз и не оказаться. Отсюда и пьянка, и наркомания, и делячество, и воровство, и хулиганство, и всякий иной разврат души и тела.

Что могут сделать писатели, представители других творческих цехов, чтобы пресечь бездуховность, — так вы ставите вопрос? Писатели могут написать хорошие, правильные книги, но социальная структура жизни не всегда прямо пропорционально зависит от этих хороших книг. Мне думается, что потому-то и считается столь назревшим вопросом нынешняя наша перестройка, что она, и только она, вернее, с помощью ее мы можем заполнить вакуум бездуховности, занять людей, заинтересовать их в результатах их труда и открыть через гласность путь к правде.

— Говоря о бездуховности, мы, как правило, имеем в виду подмену духовной жизни потребительством. Между тем чаще бездуховность означает некую имитацию духовной жизни, бесконечные страсти вокруг проблем либо надуманных, либо тех, что говорун своими силами разрешить не в состоянии, — то, что в романе «Годы без войны» вы назвали «вселенской озабоченностью». Причем эта не требующая усилий «озабоченность» проявляется на всех уровнях, от кружка баптиста Вахрушева до кружка искусствоведа Куркина, то есть она, как вы уже сказали, явление социальное. В чем, по вашему мнению, причины такой кулуарной псевдоактивности? Видите ли вы пути их устранения?

— Да, бездуховность не всегда так легко распознаваема, как это кажется на первый взгляд. Парням и девушкам, танцующим в дискотеке под рок- или поп-музыку, отнюдь не кажется их занятие бессмысленным и тем более бездуховным; трудно и распознать, о чем я писал в романе, так называемых говорунов, заботящихся о людях не меньше, чем в глобальном, мировом масштабе, спорящих о неких социальных проблемах, разрешив которые можно было бы разом избежать всех жизненных конфликтов. Вот тут-то, чтобы отделить содержательное от бессодержательного, и должна выдвинуться на передний план литература. В том или ином явлении она должна найти истинную и ложную ценность. Почему бы и не пойти в дискотеку, не потанцевать, но если это становится своего рода духовной наркоманией, если дискотека начинает заслонять все остальное — такое увлечение превращается в негативное, и подобные парни и девушки в конце концов искалечат свою судьбу. За безобидной на первый взгляд рок- и поп-музыкой стоит образ жизни, то есть определенный образ жизни людей, обобщенных так называемой «массовой культурой», который далек от созидательных идей человека

вообще и нашего общества в целом. У нас есть огромные, традиционные для нас формы культуры, и на базе их с учетом исторического развития культуры народов мы должны предлагать нашим молодым людям то новое, что привлекло бы их и что вызвало бы не меньший интерес, чем тот, какой вызывается заокеанскими шаблонами. Задача эта не только литературы: об этом должны думать все, и, если хотите, эта проблема так же важна сегодня для нас, как и проблема экологическая, потому что, кроме природы, в которой мы живем, нас окружает еще и социальная атмосфера, в которой вырабатывается наша нравственность или безнравственность.

— Много в последнее время говорится о проблемах молодежи, в частности творческой, хотя вряд ли понятие «молодой» приложимо к 35-летнему автору (а именно таков установленный издательствами возрастной ценз). Причем мнения зачастую противоположны: то молодых-де литераторов мало публикуют потому, что просто выбор невелик, то говорят, что есть чуть ли не целая литература, написанная молодыми и о молодых, а ретрограды редакторы не дают-де ей хода... Каково ваше мнение?

— В двадцатые годы, в начале тридцатых, когда становилась наша литература, не было вопроса о молодых. Были молодые литераторы: Шолохов, Леонов, Фадеев, Симонов, Сурков, Твардовский, и была молодая литература, ставшая теперь классикой; теперь же есть вопрос о молодых, а где молодая литература, равная литературе тех лет? Мне кажется, в литературу надо идти с книгами, а не с желанием непременно разместиться на какой-либо ветке в ней. Ветка всегда будет соответствовать творчеству.

— Если еще недавно можно было заработать репутацию смелого, подлинно современного писателя критикой, причем достаточно завуалированной, тех или иных социальных явлений, то сейчас не сместились ли точка приложения литературной мысли? В чем вы видите задачи писателя в период гласности? Каково может быть соотношение публицистического и «вечного» в прозе?

— Я не думаю, чтобы в разные периоды жизни литература приспосабливалась по-разному критиковать действительность, по-разному к ней относиться — имея в виду, конечно, литературу истинную, а не приспособленческую — та на все и всегда горазда. И во времена застойные, и до, и после, и сейчас только один критерий может быть признан истинным — критерий правды, и только с этим критерием, с этой меркой можно подходить к тем или иным явлениям жизни. И потому ни о каком смещении, как вы говорите, «точки приложения» писательской мысли речи быть не может. В период гласности писатель — то есть писатель искренний, всегда относившийся серьезно к тому, что он делает, — должен относиться так же к своему труду, как и всегда. Еще раз хочу сказать, что гласность, как и демократизм, — не самоцель, она, может быть, дает только больший простор и большую свободу действий,

но она же и предъявляет писателю и больше гражданских требований. Мы должны быть соучастниками той жизни, о которой пишем, кровно заинтересованными в исправлении застойных явлений, а не сторонними наблюдателями, злорадствующими, что вот, мол, до чего докатились, что надо чуть ли не всю структуру общества менять, чтобы все наладить; должны быть помощниками и ведущими народа, то есть людьми, остро чувствующими и отрицательное, и положительное, умеющими, пропустив через себя в живых образах, отобразить действительность.

Что же касается вопроса о соотношении публицистического и вечного, то, позвольте, разве публицистическое не может быть вечным?! Если вы имели в виду темы вечные — любви, труда, жизни — и темы, казалось бы, сиюминутные, то ведь они заключены в тех же словах: труд, любовь, жизнь! Целое всегда состоит из частей, как и история человечества состоит из больших и малых событий; вечное тоже состоит из частей, и когда частности — то есть сиюминутные, сегодняшние труд, любовь, жизнь — отображены правдиво, они и становятся частицами вечного. Поэтому говорить надо не о противопоставлении, а о возможном единстве сиюминутного и вечного, о той грани, где они соединяются и рождается истинная и правдивая книга. Что же касается публицистики, то, мне кажется, без этого элемента нет ни прозы, ни поэзии, ни критики: она естественна и даже необходима, и всякая попытка разделения есть попытка искусственная, отбрасывающая нас назад, во времена оны, когда только зарождались жанры.

— В письме одного из наших читателей ваш роман «Годы без войн» упоминается в ряду лучших произведений последних лет, не получивших, по его мнению, должного критического осмысления. Какие надежды вы сами возлагали на критику, оправдались ли они?

— Мне кажется, что вы задали вопрос в очень мягкой форме, хотя суть его заключается, видимо, несколько в ином, чем только получил ли роман «должное критическое осмысление» или нет. Я не впервые сталкиваюсь с таким вопросом: спрашивают меня об этом и на читательских конференциях, и в письмах, и если уж, как говорится, воспользоваться гласностью до конца, то скажу, что против меня в литературе, в сущности, проводится политика замалчивания. Она проводилась не только против меня: замалчивались и замалчиваются многие крупные писатели, активно работающие в литературе. Дело доходило до того, что даже в официальных докладах не упоминались тогда еще живший среди нас Шолохов и Леонов. Замалчивали и Булгакова, и Гроссмана в свое время вычеркнули из литературы, и многих других, а к чему это привело? К тому лишь, что мы, краснея, восстанавливаем их имена и произведения в отечественной словесности.

Что касается меня и моего творчества, то тут в той или иной мере для меня ясно, откуда и почему дует ветер. В свое время, когда я выступал и в статьях, и в своих книгах против определенных и теперь осужденных тенденций в нашей литературе (тогда же эти тенденции воз-

водились в абсолюте), мне было откровенно сказано: «Будешь с нами — будешь иметь все». Это говорили люди не с улицы, а занимавшие и занимающие сейчас определенные посты в литературе. Я спросил: «С кем — с вами?» — и тогда на меня посмотрели, как на инопланетянина. Я ответил, что всегда был с народом и с партией, и продолжал говорить и писать то, что считал нужным и правдивым. Дело, как видите, не в художественной значимости книг, а в том, «с нами» или «не с нами», и так как я оказался «не с нами», то и роман «Танки идут ромбом», который, как писали, является одним из значительных произведений о войне, перестали упоминать.

Литературе навязывалось одно-единственное направление, тогда как литература всегда охватывала все стороны жизни. Один Айтматов — это прекрасно, два Айтматова — это хорошо, а когда их десять — это тревожно, а если их будет десять тысяч — надо бить в рельс. Как бы ни было это художественно, но это однотипно, однозначно, и Айтматов номер один затерялся бы в этих тысячах. То же самое можно сказать и о Федоре Абрамове: прекрасно, что он один. Но литературу толкали и продолжают толкать на этот «единственный» путь, а тот, кто хочет выразить себя иначе, да к тому же если он «не наш», то о нем и говорить нечего. Так что я не упрекаю критику вообще, но я упрекаю групповую критику; не ждал от критики и не жду каких-то похвал и благ, потому что — о каких уж тут похвалах может идти речь? Но я получаю множество читательских писем, в которых и критика, и одобрение, и просьбы, и рассказы о своих судьбах; это говорит мне о том, что произведения мои затрагивают чувства и мысли современников. Я благодарен моим читателям, моим корреспондентам, которые все эти годы — трудные для меня годы замалчивания — поддерживали во мне творческий дух и желание писать.

— В романе охвачен сложный период развития нашего общества: с одной стороны — подъем инициативы во всех сферах человеческой деятельности, что в наши дни вновь стало особенно актуальным, с другой стороны — начало застоя... Этот второй план произведения — и не только вашего — критикой обойден. Сейчас критические кампании разворачиваются вокруг новых книг, а не стоит ли также вернуться к изданному за последние десять — пятнадцать лет, переосмыслить его? С каких вех прошлых лет вы бы начали?

— Я согласен с вами: да, в романе охвачен сложный, если хотите, застойный период развития нашего общества. Как в нашей отечественной литературе, так и в литературе мировой, хорошо известны факты, когда крупные полотна пишутся о переломных годах истории, какими для нашего государства были революция и война. В какой-то мере и неосознанно я рискнул нарушить эту традицию и обратился к, казалось бы, спокойному — застойному — периоду. Побудила же меня к этому самая простая мысль, точнее, сравнение: мы называем народную жизнь океаном, и в то время, когда океан как будто бы тих и на поверхности его

не гуляют штормы, в глубинах его постоянно возникают теплые и холодные течения, то есть назревают те процессы, которые затем проявляются в штормах и ураганах. В глубинах народной жизни тоже происходят свои процессы, и потому тихий — застойный — период минувшего десятилетия, в сущности, я не считаю тихим. Мне хотелось показать наше общество в более полном разрезе, может быть, даже не в том понимании, в каком приложимо это к океану, но в понимании глубинной работы мысли как отдельного человека, так и народа в целом. Думаю, что в таком плане работал в литературе не я один. Тогда же написано было немало талантливых книг, авторы которых стремились отразить правду; они подходили к проблемным вопросам не как сторонние наблюдатели, а как соучастники событий, глубоко заинтересованные в исправлении и налаживании жизни. Так что, на мой взгляд, неверно вести сегодня отсчет только от «Пожара», «Плахи» и «Печального детектива», хотя все эти произведения, написанные на новом этапе, несут в себе свой заряд откровенности.

Если же обратиться к тому, что сегодня достойно было бы назвать в первом ряду произведений, тогда уже работавших на перестройку, то к привычно упоминаемой обойме имен и произведений я бы добавил прежде всего статью В. Померанцева «Об искренности в литературе», рассказ «Рычаги» А. Яшина, «Горькие травы» П. Проскурина, «Не хлебом единым» В. Дудинцева, «Серую мышь» В. Липатова, «Собор» О. Гончара, а также творчество писателей, условно относящих себя к сорокалетним. Это В. Гусев, Р. Киреев, А. Ким, А. Проханов, А. Плетнев, В. Шугаев, И. Филоненко, Б. Василевский.

— И традиционный вопрос: ваши планы как писателя и как главного редактора журнала «Октябрь»?

— Для меня нет грани, которая отделяла бы легко и ясно собственное мое творчество от того дела, которое я считаю тоже творческим, то есть от редактирования журнала. Я стараюсь вложить душу в то и другое, насколько мне позволяют возможности, и удачной публикации в «Октябре» радуюсь, может быть, даже больше, чем удачной главе или части из своего романа.

Что же касается личных моих планов, сейчас я работаю над новым большим романом «Скрижали и колокола». Пересказывать его не могу, да и вряд ли это вообще целесообразно. Это роман о современности, в замысле его лежит идея именно скрижалей, то есть истин, от которых мы, может быть, отошли, и далеко, и колоколов, которые призывают своим звоном вернуться и прочесть эти истины.

СОДЕРЖАНИЕ

Груз будущего	3
Земля	9
Вокруг и рядом	25
Середина пути	28
Мера глубины и правды	38

Анатолий Андреевич АНАНЬЕВ

ЗЕМЛЯ

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 13.10.87. Подписано к печати 02.12.87. А 00741.
Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,30. Усл. кр.-отг. 2,28. Тираж 80 000 экз.
Изд. № 3253. Заказ № 1431. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Государственные трудовые сберегательные кассы СССР предоставляют населению возможность надежного хранения свободных денежных средств на счетах по вкладам. Вклады можно пополнить наличными деньгами или в безналичном порядке путем перечисления предприятиями и организациями сумм на счета вкладчиков.

● Одной из форм обслуживания трудящихся является выплата через сберегательные кассы заработной платы рабочим и служащим и денежных заработков колхозников.

● Такая форма расчетов имеет большое социально-экономическое значение и тесно сочетается интересы государства с личными интересами трудящихся.

● Чтобы трудящиеся могли пользоваться этим видом услуг, предприятия, организации и колхозы заключают с центральной сберегательной кассой соответствующий договор.

● Заработная плата может перечисляться в любую сберегательную кассу, находящуюся поблизости от предприятия, организации, либо по месту жительства трудящихся. Перечисленные суммы зачисляются в сберкассе на счета по вкладам.

● Деньги с вкладов можно получать в удобное время частями либо в полной сумме. По желанию вкладчика он может выдать доверенность на их получение жене, другому члену семьи или любому лицу.

Сберегательные кассы к Вашим услугам!

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС СССР